



№ 3

# Литературный Азербайджан

ИЗДАЁТСЯ  
с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ  
УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ  
АЗЕРБАЙДЖАНА

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

Марк БЕРКОЛАЙКО. <i>Прыжки. Рассказ</i>	3
Каным АЙДЫН. <i>Воробушек. Рассказ</i>	25
Ляман БАГИРОВА. <i>Новеллы</i>	56
Сергей ШАУЛОВ. <i>Селфи с Дантиком. Современная притча</i>	75
Ирина ПЕРЕСАДА. <i>Рассказы</i>	96
Гюльшан ТОФИКГЫЗЫ. <i>Рассказы</i>	116
Али бек АЗЕРИ. <i>Огъел. Рассказ</i>	128

### ПОЭЗИЯ

Евгений СТЕПАНОВ. <i>Свет-и-судьба. Поэма</i>	22
Салам САРВАН. <i>Стихи</i>	52
Сергей ШАУЛОВ. <i>Стихи</i>	74
Аладин ЯГУБОВ. <i>Планета любви. Стихи</i>	91

### ПУБЛИЦИСТИКА

Наби БАЛАЕВ. «Катастрофист на пенсии...» или страда по Чеславу Милошу	18
Тофик МЕЛИКЛИ. От революционной романтики к суроевой действительности	38
Мамед Али САФАРОВ. <i>Крит. Путевые заметки</i>	77
Гюлюш АГАМАМЕДОВА. <i>Аусвайс</i>	89
Марк ВЕРХОВСКИЙ. Интервью с известным дизайнером Сан-Франциско	113
Марат ШАФИЕВ. Краткая история русскоязычной бакинской поэзии	120

2022

Главный редактор	– Солмаз ИБРАГИМОВА
Ответственный секретарь	– Эльдар ШАРИФОВ – СЕЙШЕЛЬСКИЙ
Отдел поэзии	– Алина ТАЛЫБОВА
Отдел подписки и рекламы	– Джамиля ШАРИФОВА
Литсотрудники	– Егана МУСТАФАЕВА, Натаван ХАЛИЛОВА, Ниджат МАМЕДОВ <a href="https://soundcloud.com/nijat-mamedov-489264474">https://soundcloud.com/nijat-mamedov-489264474</a> <a href="https://www.youtube.com/channel/UCoPQ9ounuR9X3KgCh0JdFYg">https://www.youtube.com/channel/UCoPQ9ounuR9X3KgCh0JdFYg</a>
Корректор	– Анна КУЗЁМИНА
Редакционная коллегия:	<i>Почетный аксакал «Л.А.» Сиявуш МАМЕДЗАДЕ,</i> Кымаля АГАЕВА, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ, Асиф ГАДЖИЕВ, Шелали ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос – Анджелес, США), Динара КАРАКМАЗЛИ, Азер МУСТАФАЗАДЕ, Эльчин ШЫХЛЫ
Литконсультант	– Натиг РАСУЛЗАДЕ

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г. в Министерстве  
печати и информации Азербайджанской Республики  
Регистр. № 352

Адрес редакции:  
AZ 1000, Баку, ул.Хагани, 53  
Электронный адрес: litaz1931@gmail.com

Сдано в печать 22.02.2022 г.  
Бумага офсетная. Формат 70x100 1/16  
Печать офсетная, 8.25 печ. л.

Тираж 400

Отпечатано в типографии «OL»NKPT MMC  
Тел.: 497 – 36 – 23

Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

**ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА**

*Рукописи не рецензируются и не возвращаются.*  
*Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.*  
***В публикуемые материалы  
редакция вносит необходимую правку.***

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала  
обращаться в типографию «OL»NKPT MMC

# ЗЕМЛЯКИ

МАРК БЕРКОЛАЙКО

## *Прыжки*

### *Рассказ*

*Марии Ласицкене, олимпийской чемпионке, с восхищением и благодарностью за её прыжки на фантастическую высоту 206 сантиметров;*

*Александру Ивановичу Куприну с восхищением и благодарностью за рассказ «Леночка» – один из его взлетов на фантастическую высоту.*

#### *I. Разминка и разбег*

Кто из нас не мечтает о хороших должностях, высоких званиях и ощущимых премиях? – но соискатели заявляют об этом громогласно, а скромняги ждут, пока их на что-нибудь этакое номинируют другие.

Наш герой еще в юности решил, что он – из Соискателей. Именно так, с большой буквы, а имя его, фамилия и прочие анкетные данные для нас не существенны.

В отличие от того факта, что однажды он вынужден был пристроиться в затылок двадцати двум другим «соищущим»:

- замороженного мяса (говядины и свинины);
- сосисок, тонких и вытянувшихся, как кадеты, которые поверили, будто выполнение команды «Смирно!» делает их бравыми вояками;
- сарделек, надутых, как полковники, коих вот-вот произведут в генералы;
- сыропеченой колбасы, где сырости всегда больше, чем копчёности.

А до этой минуты насыщенного мартовского дня 1985 года, оставив сумку в камере хранения Павелецкого вокзала, он доехал до МГУ, при котором пребывал официально оформленным соискателем ученой степени доктора физико-математических наук, сделал там успешный доклад на семинаре всемирно известного ученого – после чего устремился выполнять последний, но обязательный пункт программы: купить максимум мяса и мясопродуктов.

Однако черта лысого! Пока очередной советский генсек тихо помирал в Кремлевке, солидарная с ним советская пищевая промышленность тихо помирала повсеместно, и в мясные отделы двух давно «пристрелянных» Соискателем гастрономов – того, где тихо дремала Катя, и того, где улыбалась莉莉， – не завезли в этот день ничего! И лишь в третьем, куда он заскочил от отчаяния и где никто его не ждал ни в дреме, ни с улыбкой, царило изобилие – результат того, что накануне ночью в убойном цехе комбината имени Микояна закончили свой земной путь несколько нетельных коров, уставших рожать свиноматок и не брызжущих спермой быков и хряков.

Первая счастливица, пробыв у прилавка примерно три минуты, заспешила к кассе. «Таким образом, – размышлял Соискатель, – можно допустить, что на двадцать два (включая меня) человека уйдет один час шесть минут.

Домчаться за полчаса до вокзала трудно, а за четверть часа спуститься в автоматическую камеру хранения, достать из ячейки сумку, подняться на перрон и спеть к шестнадцатому, последнему вагону поезда еще труднее.

Однако зря ли я качаюсь три-четыре раза в неделю?

Правда, потом еще топать через весь состав в свой пятый вагон: дверь в тамбур, дверь в переход, дверь из перехода в тамбур следующего вагона и так далее... Итого сорок четыре двери, а руки заняты».

Но не сомневался: и это одолеет, и стерпит воркотню проводниц по поводу того, что через непрочные швы его старых пакетов капает и подтекает.

Зато как завтра утром будет счастлива жена! Так счастлива, что, гордясь добычливым мужем, забудет спросить, как прошел вчера его доклад.

«А если кто-то из впереди стоящих заспорит с продавщицей? – сомнения все же навалились. – И займет это не три, а пять минут?! А если таких идиотов и идиоток окажется несколько?! А если в камере хранения заест замок ячейки?! Или вдруг... Или...».

В общем, капитану суперлайнера «Титаник», отплывшего из Саутгемптона курсом на Нью-Йорк, будущее представлялось гораздо более лучезарным, нежели Соискателю, томящемуся в очереди за час сорок пять минут до отхода поезда – однако все эти его тревоги смыло океаническим приливом адреналина, едва прошелестел слушок, будто в одни руки отпускается не более трех килограммов.

Сказал всем и никому:

– Друг, небось, заждался, пойду перекурю! Кстати, граждане, очередь я и на него занял!

Выскочил на улицу, огляделся, и ура! – у витрины маялся мужичок, пришедший в ясное сознание и полное осознание совсем, судя по всему, недавно.

– Родимый! – вскричал Соискатель. – Пятерик заработать хочешь?

В глаза мужичка вернулась утраченная было вера в высшую справедливость:

– А что делать надо?

– Считай, что ничего! Я в очереди за мясом стою, так ты время от времени ко мне подходи поговорить.

– О чем?

– О бабах! О футболе-хоккее! Об успехах нашей Родины в борьбе за мир!

– Чирик! И деньги вперед.

И пять-то рублей за столь пустячную работу было красной ценой, однако «родимый», поняв, что на Бога надеялся не зря, оказался тверд в решении и самому не плошать – так что Соискатель отдал ему десятку.

Что ж, здоровое нутро советского человека побудило того не пуститься в бегство, а начать неправедную добычу отрабатывать, то есть, появиться минут через пятнадцать в гастрономе и спросить бодро:

– Стоишь, Вастька?!

Ошарашенный неприятно кошачьим именем, Соискатель ответить не успел – посчитав имплементацию заключенного договора завершенной, мужичок направился к прилавку, за которым высилась продавщица гренадерского роста. И возвзвал к ней громко, и много нежности прозвучало в его надтреснутом тенорке:

– Зая! Зря ты так! У меня после вчерашнего кое-что все-таки осталось!

Соискателю бы подосадовать, что отданный им червонец расценен как всего лишь «кое-что», однако в окружающем пространстве не осталось места для досады – звучавшая в голосе «родимого» нежность затопила мясной отдел, а также соседние бакалейный, кондитерский и молочный! Она придала новую свежесть скисающему молоку и размягчила черствеющие сыры; она сделала конфеты сладче, а муку белее, однако же вино-водочный отдел, вместилище соблазна, этот протуберанец чистой любви огибал брезгливо!

– Зая! Придумал я картошечку жареную к твоему приходу сварганить! Духовитую, как тебе нравится, с укропчиком, петрушечкой, кинзой – уже сбежал в овощной напротив, проверил, зелени всякой там полно! Чистенькая она и привяла совсем чуток. Зато картошечка – ух, крепенькая, ух, ладненькая! Я маслом ее буду поливать

очень часто, но понемногу; я по высшему разряду ее готовлю, со всем моим к тебе чувством... Как ты, Зая, на это взглядаешь?

Когда-то давно, еще во времена бакинской юности Соискателя, подруга его старшей сестры, заметив, что абстрактное восхищение женщинами сменилось у него вполне конкретной тягой к их прелестям, решила прочитать ему лекцию о ловушках, поджидающих молодого самца на нелегком пути становления.

– Если, – наставляла она, в частности, – женщина подмигивает смыканием век одного глаза, то она – трусливый браконьер! Потому что истинная охотница взглянет на тебя обоими глазами, но одним чуть пристальнее, чем другим. Это и есть классическое подмигивание в стиле великих распутниц восемнадцатого века, это и есть настоящий, недвусмысленный призыв!

Продемонстрировала, получилось! Настолько убедительно получилось, что уже тогда склонный к обобщениям Соискатель попытался распространить полученное знание на иные приметы недвусмысленного призыва: например, как какая-нибудь великая распутница восемнадцатого века кивала?

И придумал, как: на один и очень краткий миг мышцы ее шеи становились чуть более расслабленными, нежели мышцы плеч и спины...

Чушь, скажете вы?! – но не спешите с приговором, ибо в ответ на нежные трели мужичка и озвученные им перспективы продавщица «кинула» именно так.

Соискатель увидел это во второй раз в жизни – и тут же припомнил первый.

## **II. Толчок и взлет**

Всегда Светка.

Никогда Светлана или Света.

А уж Светочки или там Светик – боже упаси!

Может, называя её так грубовато-панибрратски, будущий Соискатель пытался обнудлить психологически неприятную ему разницу в росте? У него – 176 минус сутулость, у неё – 181 плюс какие-никакие каблуки, вот и получался почти дециметр ее бросающегося в глаза преимущества. Да еще, как назло, прямая и вытянута она была, как поставленная «на попа» линейка. Сравнение не случайное, ибо носимые ею свободные блузки и плиссированные юбки-миди отмечали любые допущения о существовании у нее груди, бедер и попы.

Она сразу выяснила у девчонок из группы, что именно будущий Соискатель, – стоит лишь лектору задать вопрос аудитории, – выскакивает первым и всегда отвечает верно, а выяснив и нечасто потом появляясь на занятиях, уверенно садилась рядом с ним. Или заявляла уже имевшимся соседу-соседке: «Я здесь сяду!»

И никто с нею не пререкался, еще бы! – мастер спорта по легкой атлетике, входящая в первую тройку советских легкоатлеток-прыгуний в высоту!

Еще бы! – ведь в ней так чувствовалась постоянная нацеленность на толчок и взлет, немного странная для мехматовского народа, но и притягательная для него.

Ни с кем не разговаривала, только иногда, вернувшись с очередных сборов или соревнований и привычно усаживаясь рядом с будущим Соискателем, говорила не ему, а скорее, в пространство: «Еще прибавила. До Иоланды Балаш осталось...».

И в несколько месяцев такого их общения «до Иоланды Балаш», мировой рекордсменки, долгие годы побеждавшей как на стадионах, так и в крытых манежах, оставалось все меньше...

Итак, садилась рядом с ним, всегда без ручки и тетради. Сидела прямо, можно даже сказать, высилась горделиво. Слушала лектора внимательно, хотя, очевидно, ничего не понимала – и пора ответить на естественный вопрос: «А как, собственно, она очутилась именно на механико-математическом факультете Азербайджанского

университета?» И вот ответ: «В силу обаятельного южного раздолбайства!» Просто в один прекрасный день чемпионов и чемпионок республики по легкой атлетике, пожелавших получить не традиционный диплом Института физкультуры, а нечто более престижное, всех гуртом отправили в университет, где и распихали по факультетам самым случайным образом. Не затрагивая, впрочем, две тогдашние святыни: исторический и юридический, которые Центральный Комитет республиканской Компартии бдительно контролировал.

И Светлану Лавренюк зачислили на мхмат, причем сразу на второй курс, однако в ее зачетке быстро появились четверки по всем экзаменам двух сессий первого курса. А потом и зимней сессии второго, в течение которой она, разумеется, не появилась, поскольку снисходила до посещений лишь тогда, когда могла «преподнести себя» в подобающем ее званию и титулу виде. А тогда зачем приходить на экзамены, где ничем подобающим блеснуть заведомо не могла? – и вместо нее появлялась зачетка, которую вносил в аудиторию заведующий общеуниверситетской кафедрой физкультуры, знаменитый в прошлом футболист всенародно боготворимого «Нетчи». И в ответ на вопрос экзаменатора: «Пятерка?» шутил привычно:

– Нет, муэллим, пятерка будет, когда не третьей в Советском Союзе станет, а первой.

И верил, что максимум через год станет.

А следом за ним верил и весь мхмат.

«Почему все же, – часто потом думал Соискатель, – Светка согласилась числиться именно у нас? Чай, не сержантом же в легендарный Семеновский полк её записали!»

И только одна была у него версия: «от балды» послали её на мхмат, «от балды» же она и пошла. Да и боялась, наверное, показаться смешной, выбирая между одинаково загадочными для нее профессиями, смутно ею различаемыми «*Terra incognita*». Потому же, тоже из гордости, садилась рядом исключительно с ним: чемпионка аж всей Азербайджанской Республики могла иметь своим соседом если уж не чемпиона, то хоть какое-то его подобие – пусть даже очень локальное.

Так сказать, «чемпиончика» популяционного ареала размером в две студенческие группы.

Гробовая тишина повисла однажды в аудитории – профессор, читавший дифференциальную геометрию и начала топологии, задал особенно заковыристый вопрос. Даже наш герой две-три секунды промедлил, прежде чем поднять руку. И отвечать начал не так уверенно, как обычно, хотя вскоре, поняв по одобрительным кивкам лектора, что на верном пути, приободрился. А когда сел, поймал на себе Светкин взгляд. Не восхищенный, нет. Скорее, полный искреннего недоумения по поводу того, что именно этот задохлик... скорее даже, «именно это полудохлое», с трудом прыгающее разве что на метр двадцать, знает так много дурацких, но волшебно верных слов.

Однако печаль печально, но когда прозвенел звонок, сказала, будто бы намекая на существование тайной двери, отворив которую и продвигаясь потом бесшумно, можно попасть в спальню красавицы грандессы:

– Слыши, приходи сегодня в пять в легкоатлетический манеж. Скажу, чтобы тебя пропустили. Буду в первый раз метр семьдесят пять брать, а это для закрытых помещений ого-го как много.

Сектор для прыжков в высоту, в котором трудилась Светка, был небольшим ярким пятном под двумя мощными лампами, а все остальное тонуло даже не в полу-мраке, но в очень неприятном «полусвете» – веселый весенний день с большим тру-

дом пробивался через расположенные под самым потолком широкие и узкие окна. Соискатель же, в тогдашнем своем мышасто-сером демисезонном пальто, вряд ли был Светкой вообще замечен... да даже если и был, то отвлекаться на него она не стала: никогда до, да и редко после этого дня видел он человека, настолько сосредоточенного на своей работе!

Она разбегалась, прыгала, выслушивала не слышные Соискателю замечания тренера, согласно кивала, потом опять разбегалась...

Позволяла себе лишь редкие паузы, в течение которых тренер разминал ей икры, бедра и попу, скрытые под ярко-красными рейтузами из толстой и, наверное, грубой шерсти; да и до пояса была в свитерке, вроде бы белом, однако же то там, то сям серели на нем пятна пота...

Отвлечемся на минуту и вспомним это потрясение: прыгун Дик Фосбери разбегается, взлетает и перелетает планку спиной над нею и почти ей перпендикулярно!

Это Олимпийские игры в Мехико, 1968 год, высота два двадцать четыре. Так миру впервые был явлен новый стиль, однако прежний, «перекидной», когда голова, грудь и живот проходят параллельно планке, удерживался еще долго, до 1977 года, – тогда Владимир Ященко установил с его помощью мировой рекорд: два тридцать четыре. Однако всего через два года «фосбери-флоп» воцарился окончательно: прыгая именно так, Яцек Вшола в 1980-м осилил два тридцать пять, и после этого «перекидники» сдались.

А в 1964-м, ничего, разумеется, не зная о том, что прыгать можно, не «зависая» всем телом над планкой, Соискатель представлял себе, как обидно и больно бывает прыгуньям, когда высота уже почти взята – и тут ненавистная врагиня их, дюралевая трубка, вдруг падает, задетая пусть немного, но хоть сколько-то выступающим соском. И думал, насколько чаще это случалось бы, будь у него Прыгуньи (уловив намек на потайную дверь и заветную спальню, он уже мысленно называл Светку своей Прыгуньей) грудь повыше! И твердо решил, что коль скоро «Париж стоит мессы», то осуществление мечты «перепрыгать» саму Иolandу Балаш стоит почти детской малости грудок.

Но вот тренер растеребил Светкины мышцы особенно яростно, она совершила несколько размашистых махов и глубоких наклонов, быстро сняла свитер и рейтзузы, еще быстрее надела поверх плавок трусы – короткие и тесные, дабы не развевались во время прыжка; а поверх окончательно расплющившего грудь лифчика – обтягивающую майку.

Убедилась, что планка приподнята на новую высоту, вышла в точку, откуда начинала разбег, – и стало ясно: вот они, сто семьдесят пять сантиметров...

Но Соискатель не думал о незаметной глазу разнице между ними и предыдущими ста семьдесятю с чем-то!

Не до того ему было – он любовался Светкиными дивными ногами, впервые увиденными во всей их длине и красе. Думаете, высокий подъем ее стоп породил в нем восторги балетомана? – вот и мимо! Классический балет он почитал скучою, делая исключение разве что для «Щелкунчика», где гений Чайковского так счастливо погрузился в «не от мира сего» гофмановские фантазии – но особенно его раздражали противные природе перемещения на пятах, вследствие которых икры балерин напряжены, как кулаки грузчиков, требующих доплату за сверхурочную работу.

Нет, Светкины ноги были другими – скульптурными, как у граций Кановы или танцующей девушки Торвальдсена, вот только не беломраморными, а покрасневшими от прикосновений грубой шерсти, особенно наждачных во время коротких сеансов массажа. Впрочем, не Канова и Торвальдсен вертелись тогда у него в голове, а совсем другое... скажем прямо, несколько причудливое.

Паровозы вытеснены из железнодорожных перевозок, что закономерно (коэффициент полезного действия парового двигателя ничтожен в сравнении с КПД дизеля, тем паче электродвигателя), но достойно сожаления, ибо исчезла возможность любоваться работой вынесенного наружу КШМ, кривошипно-шатунного механизма, превращающего поступательный ход поршня во вращение ведущих колес.

Так считал будущий Соискатель – и пока Светка, примериваясь к первому шагу, переминалась с ноги на ногу, он был заворожен тем, насколько эти движения изумительно соразмерных ее ног похожи на неохотное подчинение сцепного и тягового дышла, контракривошипа и маятника – штоку поршня, выводящему их из состояния покоя!

Экое кощунство, скажете вы: сравнивать идеальные женские ноги, которые надобно целовать и гладить, – с дышлами, маятником и контракривошипом! Но уверяю вас, Соискатель знал то, что знают далеко не все: «Бедро и голень человека... тоже представляют собой кривошипно-шатунный механизм с неполным оборотом».

Так ныне говорит Википедия, а когда-то так говорили книги, в которых о научных и инженерных чудесах рассказывалось интересно и понятно.

Но вот свершён самый первый, слегка подпрыгивающий шаг.  
Вот легко набран ход.

Вот ноги, эти волшебные КШМ, подбросили Прыгунью – и она пронеслась поверх планки, не коснувшись!

А все прочие мышцы сгруппировались в нужный момент так, что земное притяжение, поначалу оторопевшее от дерзости этого взлета, не шмякнуло тело Светки в тугие маты, а опустило его в них почти ласково.

Завопил что было мочи: «Св-е-е-тк-а-а!!!»

Эх, заорать бы так во время следующей Олимпиады, на трибуне гигантского стадиона в Мехико – однако где он, наш будущий Соискатель, где родной его Баку, а где Мексика? Но однако же орал, надрывая связки – и был уверен, что Прыгунья этот вопль запомнит! Что он прозвучит в ее ушах спустя четыре года именно в Мехико, где она «перепрыгает» Иоланду Балаш, и та тихо заплачет где-нибудь в сторонке, прощаясь со своими взлетами.

Легко вскочив на ноги, Прыгунья посмотрела в его сторону и кивнула именно так, как он когда-то нафантазировал.

Так, что бездвижной осталась ее голова, но шея позволила себе на очень краткий миг расслабиться чуть сильнее, нежели плечи и спина.

### **III. Приземление**

Появилась она, чуть прихрамывая, недели через полторы, на практическом занятии по аналитической механике.

Впервые не с пустыми руками, а с общей тетрадью и дорогой шариковой ручкой производства легендарной чешской фабрики «Кохинор».

Пояснила, теперь уже конкретному соседу, а не всеобщему пространству:

– Ахилл чуток потянула. Неделю тренироваться нельзя, похожу на занятия от нечего делать.

Но будущему Соискателю в этом «от нечего делать» захотелось услышать (а может, ей захотелось намекнуть), что заветная тайная дверь стала теперь для него еще чуть менее тайной.

– Ты красиво прыгнула. Поздравляю.

– А ты здорово болел. Мне даже тренер, Геннадий Геннадьевич, сказал: «Горласт вопёжник! Его на соревнования с собой возить – так трибуны заведет, что мигом Иоланду Балаш одолеешь».

А сказав это, раскрыла принесенную и ничем до того не осквернённую тетрадь, решительным щелчком вывела наружу металлический кончик стержня и приготовилась записать что-нибудь. Под заинтересованным надзором своего новообретенного волчка, разумеется.

Но преподаватель вызвал того к доске.

Это был особый преподаватель. Говорили, что в конце тридцатых он, простой азербайджанский паренек, сумел поступить в труднодоступный Ленинградский военно-технический институт (начинавшийся когда-то как Ремесленное училище Цесаревича Николая), воевал, был ранен, а потом долго работал в каком-то «суперномерном» НИИ, где дорос до должности руководителя теоретико-расчетного отдела. Но вдруг с легкими случилось что-то такое, что вынудило его вернуться в теплый климат родины, хотя память благодарно хранила морозы Ленинграда, Северодвинска и Североморска. Все это походило на правду, ибо от других преподавателей он отличался той сухостью манер, что присуща людям, придавленным грифами строгой секретности. Предмет свой этот тихий доцент не просто знал блестяще, но словно бы чувствовал его всеми потрохами – потому и задачи на проводимых им занятиях разбирались весьма нетривиальные, причем сначала у доски трудился кто-то из тех немногих, кто не цепенел от звучных терминов «лагранжиан», «гамильтониан», «принцип Д'Аламбера»… а затем, когда до получения ответа оставалось проделать несколько простеньких «экзерсисов», выходил любой или любая, имевшие по математике хотя бы хилую четверку. И надо же такому случиться: в тот важный день преодолевать первый этап первой задачи пришлось будущему Соискателю. С помощью Азиза Садыковича (единственного на факультете азербайджанца, кого называли в русской манере, по имени-отчеству, а не в азербайджанской – Азиз-муэллим) схему действующих на многоэлементную систему сил и моментов наш герой вычертил, лагранжиан составил. Дальшеправлялся без подсказок, получившееся дифференциальное уравнение свел к необходимости взять азбучный интеграл и завершил бы труды праведные через минуту, но тут раздалось:

– Спасибо, садитесь. Ответ выпишет ваша соседка, которую я вижу сегодня в первый раз. Назовитесь, пожалуйста, девушка!

– Лавренюк. Светлана. – последовал полный вселенской муки ответ.

– Рад познакомиться. Пройдите к доске.

Будущий Соискатель мог, конечно, сделать вид, что увлекся и махом взять интеграл – но вдруг Азиз Садыкович, дождавшись, пока Светка добредет до доски, поручил бы ей начать решать следующую задачу, и ситуация стала бы, как принято сейчас говорить, неуправляемой! Поэтому наш герой уронил мел, закопошился, его разыскивая, и успел прошипеть несгибаемо прямой «линейке» откуда-то из района ее, пардон, паха:

– Смотри на меня, пиши и молчи!

Необходимо пояснение: несчастной Прыгунье предстояло изобразить взятие несобственного интеграла от нуля до бесконечности от экспоненты в степени минус  $t$ , а герою нашему предстояло – что? Дирижировать? Ах, если бы – ведь дирижер сигналит скрипкам о вступлении, а не о том, какую струну каким пальцем зажать и куда, вверх или вниз, устремить смычок. А чертить в воздухе символы так, чтобы Прыгунья воспроизвела их на доске?! – к какому жанру это относится? К пантомиме? К театру кабуки? К пассам жрецов или священников,зывающих солнечное затмение или схождение Благодатного огня?

Но для искусствоведческих размышлений времени не было, настала пора действовать – и мигом вернувшийся за парту будущий Соискатель изобразил знак «равняется». Светка закивала с готовностью, выписала на доске, а затем, кроша мел, обвела еще несколько раз – точно переминалась перед разбегом.

Он начертил в воздухе «минус».

Это ей понравилось меньше, она, наверное, ожидала какого-то конкретного и простого ответа, который позволил бы ей выглядеть достойно – и самое удивительное, что чисто женской своей интуицией «просекла» правильно: чудовищно сложному для нее агрегату предстояло превратиться, в конце концов, в самую что ни на есть банальную единицу. Однако же, спроси Азиз Садыкович (а он, холодный питерский теоретик, наверняка потребовал бы расставить точки над i): «А как вы, Лавренюк, получили этот элегантный ответ?», ей пришлось бы что-нибудь сказать – и тут спасательные круги-жесты Соискателя вынужденно свелись бы к перечеркивающему надежды знаку «Х».

Однако, поколебавшись немного, с осторожностью слепца, следующего за новой для него собакой-поводырем, Светка минус на доске все же нарисовала.

Далее будущий Соискартель со всей возможной старательностью «начертит» в степени минус  $t$ .

Уже подозревая, что вместо специально обученной колли ей подсунули бесполковую дворнягу, она экспоненту все же записала и даже второй минус изобразила правильно – в показателе степени.

Ура! – и будущий Соискартель начертит в воздухе вертикальную палку со значениями «ноль» и «бесконечность» внизу и, соответственно, вверху.

Прыгунья и это осирила, демонстрируя, впрочем, мучительные сомнения по поводу того, что примитивно прямой посох со значениями 0 и  $\infty$  в обоих своих концах правомерно заменил собою «лебединую шею» интеграла с этими же значениями...

Но когда «поводырь» вновь начертит в воздухе «равняется», взбунтовалась – и ткнула пальцем в обозначение «dt» под знаком интеграла. После чего изобразила огромный знак вопроса-восклицания, словно бы спрашивая гневно: «А это уродство ты куда дел?!»

Ой, как это было некстати! – и будущий Соискартель, потеряв бдительность, не обращая внимания на то, что Азиз Садыкович смотрит уже не на доску, а на него, замахал, словно сигнальщик на адмиральском мостике, передающий обезумевшей эскадре: «Опомнитесь, идиоты, делайте, что вам говорят!!!»

Но у Прыгуньи, окончательно переставшей ему доверять, состояние бессмысличного и беспощадного бунта внезапно сменилось, как это часто бывает, тихой тоской, и опомниться она уже не могла, а лишь озиралась затравленно, словно искала точку, откуда можно было бы начать спасительный разбег...

О, он бы, в отличие от задохлика-поводыря, ее бы не подвел!

И «родная» толковая нога не подвела бы, и перегруженное предыдущими прыжками «родное» ахиллово сухожилие только ойкнуло бы, уковы острой болью, но тут же простило очередное над собою насилие. А за преодоленной планкой открылся бы такой свой, такой приветливый мир... но вот ведь в чем ужас – планки не стало!

Она, эта цельная и преодолимая планка, будто бы распалась на непреодолимые минусы и черточки равенства, и жизнь Прыгуньи будто бы распалась следом...

А будущий Соискартель все жестикулировал и гримасничал, – пока не услышал, что происходит комментирует Азиз Садыкович.

Почему-то по-азербайджански и почему-то очень по-отечески:

– Yaziq oqlan, nesə də əzab çəkir!

Но, обратившись к Светке, опять превратился в сухого петербуржца:

– Лавренюк, не сомневаюсь, что вы отлично прыгаете, однако не понимаю, что вам делать на мхмате. Подумайте над этим, Лавренюк, над этим надо думать!

... Прыгунья привычно опустилась на скамью парты рядом с будущим Соискателем, однако совместное её с ним проживание поражения длилось недолго: вновь раскрыла все ту же новеньющую тетрадь, еще раз выдвинула все тот же стержень,

<sup>4</sup>Бедный парень, как же он мучается!

украсила первую страницу саженно выписанным призывом «НАДО ДУМАТЬ!!!», после чего вышла стремительно.

На все четыре экзамена летней сессии ее зачетку все так же заносил завкафедрой физкультуры, а профессора и доценты, включая, кстати, Азиза Садыковича, все так же выставляли ей «хорошо».

А после сессии, зайдя зачем-то в университет, будущий Соискатель увидел ее выходящей из отдела кадров.

– Привет от старых штиблет! – этак снисходительно. – Что же ты: вониши хорошо, а подсказываешь фигово? Ладно, – простила великодушно, – больше не увидимся, уезжаю. Меня Олимпийский комитет в МГУ перевел, нас троих, кто в зале к метру семьдесят пять-шесть подобрался, в кучку собирают, чтобы натаскать как следует, и в Дортмунде, на Европейских легкоатлетических играх в помещении, Иоланду Балаш сделать. Думаю, на меня страна в первую очередь рассчитывает, так что без твоих воплей обойдусь. Только Геннадия Геннадьевича жалко, он аж запил с горя...

– Я горевать не буду, тем более не запью! – ответил будущий Соискатель, блюя достоинство. – Не знаю, как насчет Иоланды Балаш, но учти: Москва – город безжалостный, а мехмат МГУ – это очень-очень трудно!

– Да уж, учла! – усмехнулась она. – На экономический меня зачисляют, сказали, там намного легче. Ладно, волёжник, счастливо! Оставайся со своими лагранжами, будь отличником, а потом профессором!

И пошла, не оглядываясь.

Да он и не глядел ей вслед – ведь ноги ее гениальные все равно были бы не видны... что за идиотская, кстати, манера носить исключительно миди!

И не предвидел тогда, что, словно бы искупая то «несмотрение», не раз потом будет привставать на цыпочки, чтоб пусть хоть взгляdom, пусть хотя бы еще на миг удержать уходящих от него.

#### **IV. Пьедесталы**

Пока припомнил во всех подробностях, перед ним осталось семеро. И он уже видел продавщицу хорошо, но все никак не мог решить: она – не она. Рост, маленькая грудь и живот без складок, – так, по крайней мере, виделось под обтягивающим халатом – да, её. Непринужденно держит спину, причем это не выправка, как у военных, а осанка, как у балерин, – однако движения раздающих рук ее не имеют ничего общего с чем-то плавным и «ах, изящным», культивируемым в балете; они, руки ее, снуют, но не мечутся, стремительны, но не суетливы... так все же Прыгунья?

А лицо?! – и с грустью осознал, что лицо вытеснено из памяти ее ногами – гениальными, но, как оказалось, не вознесшими, потому что на Европейских легкоатлетических играх 1966 года, в крытом манеже Дортмунда, победила все та же Иоланда Балаш. И взяла она тогда всего-то на один жалкий сантиметр больше того, что легко, с большим запасом, преодолела два года назад Светка.

И уж совсем издевательством было то, что югославка и немка, занявшие второе и третье места, «перекинулись» через планку на позорно малых ста семидесяти трех и ста шестидесяти пяти.

Так что же тогда с его Прыгуньей случилось? Соперницы затерли? Ахилл подвел? И что эту вот Светку-не Светку, находящуюся сейчас от него в пяти метрах, смахнуло с пьедестала, на который все ее мысленно возводили?

Что низвело до прилавка?

... Ах, как же споро она работала! Даже проворная Лиля не угналась бы, а уж вечно полусонной Кате и просыпаться бы не стоило... но как хорошо, что из гастроэнтеролога он выйдет раньше расчетного времени! А с чем выйдет: со скучными тремя килограммами в накачанных руках или с по-настоящему весомым грузом?

Тут, словно бы для того, чтобы ответить, опять возник «родимый» – с пакетами, домовитый, прощенный, уверенный в себе и в ненарушимых границах своего места под солнцем:

– Зая! Я еще остренького томатного соуса подкупил. Вместо аджики, зачем нам аджикой этой огненной желудки обжигать!

И Соискатель почти возненавидел его за то, что, обращаясь к жене, тот даже и не намекает на данное ей при рождении имя... или «Зая» – это исковерканное «Зоя», а не ласкательное усекновение «Зайки»?

Хотя как же ему не захотелось, чтобы умеющая так кивать женщина была какой-то там Зоей! Впрочем, тут же понял, что, окажись она Прыгуньей, его это тоже не сильно обрадует.

Почему? – о, он непременно разберется, прежде чем взглянет ей в глаза... только бы «родимый» поскорее сгинул, не забыв, впрочем, еще раз уведомить общественность, что Соискатель стоит в очереди и за него тоже.

А тот словно бы внял:

– Васька, я за свой долей завтра заеду, заберу! Мы, Зая, с ним служили вместе, и он, такой застенчивый, гордостью части был! Ты его не обирай, а после работы смотри мне, не задерживайся, не то картошечка истомится, и я вместе с ней!

И исчез, не мешая Соискателю разбираться, и подходящая ассоциация сразу же пришла тому в голову – хорошо читаемая ассоциация, однако тем, кому фотографирование представляется мгновенным появлением «в цифре» задуманной «фотки», придется пояснить. Дело в том, что не так уж и много раньше производство фотографически точных изображений лиц, тел, улыбок, слез, объятий, ударов, пейзажей и сооружений было процессом многоэтапным и химически затейливым. Завершение оного – превращение первоначального негатива в окончательный позитив – звалось печатанием и происходило в залитом красным светом помещении, куда лучикам иного цвета вход был запрещен. А подлинное чудо являлось миру и взору в тот краткий, колдовской миг, когда на фотобумаге, погруженной в ванночку со сложносоставной жидкостью, вдруг и словно ниоткуда появлялись самые первые очертания, всегда смутные и потому сулящие что-то такое, что на века.

И неважно, что уже в следующую секунду становилось ясно: нет, не на века, в лучшем случае, на пустую страницу фотоальбома «Я в детском саду/школе/институте/стройотряде/на работе» или «Моя семья», или «Мои путешествия».

Но это не страшно, не депрессивно, не безнадежно – то, что не шедевр, а просто для заполнения пустых страниц фотоальбомов! Это отражение нормальной жизни, это сама нормальная жизнь, как преодоление планки-прочерка между двумя главными датами – и пусть судьба отпустит всем нам на него сто, а лучше сто двадцать лет! Только бы уметь вычленять из предназначенного, – из этих ста, а лучше ста двадцати лет, – те несколько часов, что сложатся из секундных предвкушений, сладких и тревожных. Тем слаще и тревожнее, чем яснее понимаешь: шансов на шедевры все меньше, а на просто хорошие «фотки», просто хорошие теоремы и просто любовь, как любовь, – все больше.

Но счастлив тот, кто умеет беречь в памяти эти драгоценные предвкушения отдельно, не смешивая их с предназначенными обычным.

Вот и Соискатель не хотел в тот наспущенный мартовский день 1985 года смещивать гениальные Светкины ноги, ее прыжок и свой вопль – с добыванием мяса на борщ, мяса на котлеты, сосисок, сарделек и сыропеченой колбасы.

Для этого – обычного и предназначенного – вполне подходили всегда полу-сонная Катя и неизменно проворная Лия.

Мясо в провинциальной России, в которой Соискатель жил и работал после окончания университета в Азербайджане, исчезло почему-то именно весной 1970 года, и шумно-страстные партийно-комсомольские камлания по поводу столетнего

юбилея Ленина стали смахивать тогда на молебны о ниспослании белковой милости. Было даже так, что в уже по-настоящему теплый денек в мясном отделе одного из кооперативных магазинов, над пустыми витринами и чисто вымытым прилавком алея призыв: «Столетию Ленина – достойную встречу!», а из церкви, расположенной близ этого коопторга, доносилось ладное пение хора... и чудилось, что стоит лишь потерпеть, дождаться 22 апреля – и либо Бог похлопочет, либо опорожняются наконец огромные холодильники, специально наполняемые к заветной дате.

Но наступило 22-е, потом 23-е... 24-го сняли со стены призыв, но витрины остались пустыми, а прилавок – чисто вымытым.

Дальше, год от года, было все хуже. Когда становилось невмоготу, шли на колхозный рынок, униженно выпрашивали у уверенных «в своем праве» дядек и теток не колхозного, а вполне себе лабазного вида, чтобы немного в цене уступили – те милостиво уступали, но меньше, чем немного.

На заводах, стройках и иных полезных Родине предприятиях появились ежеквартальные, а также к кумачовым праздникам мясные заказы, особенно весомые для начальства и передовиков производства – и потому получилось, будто отсутствием мяса кто-то наказал рядовых вузовских преподавателей и работников НИИ. Даже вечные российско-советские страдальцы, учителя и врачи, не были посажены на столь же строгое вегетарианство – ведь в каждом классе находились родители, а в любой группе пациентов случались хроники, способные помочь «достать». Полномерные же лишения настигли «товарищей ученых, доцентов с кандидатами», как в своей известной песне поименовал их Высоцкий.

И проблема, к ленинскому юбилею просто означенная, составила потом наглядную примету обыденности или, если угодно, предназначенности.

Стало быть, потребовала решения.

Соискатель нашел его на пути установления крепких горизонтальных связей при явно хреновой эрекции связей вертикальных: то есть свел знакомство с одним из вечно алчущих грузчиков того коопторга, не «околоцерковного», расположенного на первом этаже дома, где жила теща.

Она-то и осуществляла важнейшую часть вкусной, полезной, но преступной деятельности: принимала от грузчика некое количество проплывающего мимо кассы коопторга товара и расплачивалась за него некими деньгами в рамках разумно спланированного женой Соискателя бюджета.

Однако благостный период равновесия спроса и предложения длился не более двух лет, после которых грузчик просветил тещу, что примитивная политэкономическая связь «товар- деньги» для подлинно русских рыночных отношений не годится. А нужна расширенная: «товар-(деньги плюс стакан)». Рассудив, что это удорожание все же таки не так губительно для бюджета, как походы на рынок, где мясо становилось все жирнее и костистее, а торгующие все омерзительнее, жена Соискателя сдалась – и отныне ее мать «со всем своим уважением» подносила грузчику не только деньги. Но дальше – больше: через год формула еще более усложнилась, превратившись в «товар-(деньги плюс стакан плюс задушевный разговор)». И пришло теще Соискателя примерно раз в три недели в течение примерно пяти лет терпеть одно и то же наставительное повествование о том, насколько он, посланный им небом грузчик, выпивающий, но знающий меру, чище и нравственней своих коллег – пьющих и меру в том не знающих...

А спустя эти (все еще) благополучные годы произошло то, что даже самый оптимистичный аналитик назвал бы не «черным лебедем», а «белым птеродактилем»: один из случайных гостей преподнес Соискателю бутылку болгарской мастики. Попробовав эту смесь тошнотной микстуры от кашля с самогоном дурной очистки, Соискатель хотел было подарок выбросить, да жена остановила: «А может, для нашего грузчика сгодится?»

И – о, роковая случайность! – не просто сгодилось, но и понравилось настолько, что гурман-кровопивец стал требовать от тещи Соискателя именно «мягонькую». Объясняя, что за то мясо, те колбасы и ту (иногда) буженину, которые он таскает, водку или даже коньяк, или даже портвейн «Агдам» ему нальют в любой квартире любого окрестного дома. Короче: деньги – мнимость, «мягонькая» – реальность!

Мастику везли отдыхавшие на Золотых Песках внявшие униженным мольбам друзья; мастику везли из московского фирменного магазина «София» – и все это длилось, пока не пришла спасительная идея: можно же доставать в столице итоговое мясо, как делают многие, а не промежуточную мастику, чего не делает решительно никто! Для вящей же точности добавим: эта идея материализовалась еще и потому, что Соискатель, став при МГУ официальным соискателем, в столицу зачастил.

И выстроил горизонтальные связи заново, и первой появилась полусонная Катя. Следом Лилия, улыбчивая, проворно его обвешивающая, без жеманства принимающая от него щедрые наградные и с ужимочками ему же сообщающая, что фигуристые и обходительные мужчины нравятся ей с самого девичества.

А натерпевшаяся теща послала наконец опешившего от удивления грузчика по неожиданному для ее лексикона адресу.

#### **V. После пьедесталов и вместо них**

Конечно, она – Соискатель понял это, как только оказался визави с нею.

Только уже не Прыгунья – ничего в ней не осталось от той заряженности на толчок и взлет, которая делала Светку одновременно и гордостью мехмата, и чужеродной для него. И такая раздирающая внутренности тоска охватила Соискателя: как же так, опять он не увидит эти дивные ноги! – что промолчал и не сказал, какое количество какого продукта хотел бы приобрести. Впрочем, это и не понадобилось – Прыгунья отбирала куски мяса и все прочее так уверенно, словно успела переговорить с женой Соискателя и поэтому знала точно, что предпочитает ее мать, что свекровь, а что должно остаться на прокорм двух славных едоков, мужа и сына.

Только спросила негромко:

– Пакеты есть?

С уже не привычной для себя суевиностью Соискатель достал из портфеля два полиэтиленовых пакета, так много раз сложенных, что Прыгунье, разворачивая, пришлось их сильно встрихивать, и они вынужденно явили очереди свою непрезентабельную, хоть и чистенькую старость. Соискатель захотел было оправдаться, объяснить, что в провинции и пакеты дефицит... вы ж даже себе не представляете, что эти ваши кремлевские мудаки с провинцией творят! – однако и это оказалось бы лишним: Прыгунья уже заворачивала замороженные куски мяса в несколько слоев лиловой оберточной бумаги и клала их поверх сосисок, сарделек и колбасы так, чтобы не протекла ни одна капля сукровицы коров, свиней, быков и хряков.

И пояснила:

– Если денег не хватит, скажешь в кассе, чтоб на меня записали.

И тут же, не удержавшись:

– Ну, привет, вопёжник! Каким крепышом стал! Профессор?

– Года через три-четыре стану. А пока доцент, – прошептал он, и не известно, услышала ли она.

Но еще менее известно, надобно ли было ей это услышать, если все равно давно решила, что тот смешной вопёжник уже профессор, только, наверное, еще большим задохликом от трудов своих праведных стал...

И дальше молчала.

А он шептал первое, что на ум приходило – так быстро шептал и с таким напором, словно лихорадочно избавлялся от чего-то издавна копившегося.

Но тоска не скучоживалась, не уходила с шепотом, а напротив, ширилась и лютела.

Шептал о том, что, став соискателем при МГУ, пытался выяснить на экономфаке, была ли там такая студентка, Светлана Лавренюк, знаменитая прыгунья, переведшаяся с мехмата одного из южных университетов. И выяснил, что о знаменитости такой никто слыхом не слыхивал, а Лавренюк какая-то вроде была. Недолго: покрутилась годика два – и сгинула.

Что он же ее предупреждал: Москва – город безжалостный, хорошо еще, что из университета сгинула, а не вообще с поверхности жизни на дно ее.

Чтобы не переживала сильно: если исходить из того, как страна устроена, то она, Прыгунья, почти на пьедестале – при мясе. Наверное, и дети имеются, и квартира есть – опять же, какой-никакой, а пьедестал. А что «родимый» иногда зашибает, так... Зато Заей зовет, многие женщины, наверное, мечтают, чтобы их Заями кто-то звал... надо у жены спросить, может, и она тоже мечтает? Только зря, если тоже – у него язык не повернется, математик так сюсюкать не может по определению.

Что и он прыгает.

Будто бы в манеже прыгает.

В каком манеже? – наверное, Господа Бога. Он же Вседержитель, стало быть, и манеж, в котором некоторые люди взлетать-прыгать пытаются, тоже Его. А потому каждая теорема, над которой он, Соискатель, бьется – это как планка, еще чуть приподнятая. Пока одолевать эти планки удается, но прыжки все более судорожные – и мучает предчувствие, что скоро он выйдет на предел... «*как ты, моя Прыгунья, вышла когда-то на свои сто семьдесят пять, а дальше ни на микрон выше, хоть тресни! Ведь ахиллово сухожилие, которое ты повредила, когда сотворила шедевр высотою в сто семьдесят пять, не могло тебе помешать взять сто семьдесят шесть, семь, восемь? Ведь в манеже Господа Бога так не бывает, чтобы человек надорвался, творя шедевр?! Или именно так и бывает?!* – хорошо бы понять, как именно бывает... Но как же ты тогда взлетела, Прыгунья моя! – и ноги твои в тот миг были скульптурными, а не кривошипно-шатунными, как мне по молодости моей показалось... Ты, кстати, меня крепышом назвала, так знаешь, я вот уже десять лет качаюсь. Потому и мяса стал жрать больше, ведь для роста мышц животные белки нужны... Сто сорок лежа жму, а сто сорок пять никогда не выжму, я это чувствую... И теоремы скоро будут получаться все менее высокими – тоже чувствую. Проходит мое время в манеже Господа Бога, скоро свое отпрыгаю и сольюсь со всем прочим народом, как ты уже давно слилась. Только не при мясе окажусь, на каком-никаком, но пьедестале, а всего лишь зауряд-профессором. Но я, Прыгунья, не ною, не скую, у меня все путём. Только вот у Гайдара где-то фраза есть: «И все бы хорошо, да что-то нехорошо», – почему-то стал часто ее повторять».

А она молчала, ведь работать надо было быстро, очередь нельзя слишком долго томить в неподвижности – распузырятся, разорутся, хорошо хоть терпят, что она вроде как на двоих столько сейчас отвешивает. Только люди ведь не дураки, видят, что из волёжника – какой-то там «Васька», как из француза китаец. Поняли, небось, сразу, что мужики комедию про армейских друзей ломали, а сами хорошо, если час назад случайно стакнулись.

Но краем уха из его бормотанья кое-что все же уловила: своей Прыгуньей ее называет, про какую-то фразу Гайдара говорит, правильную, кстати, фразу, у нее и самой все время предчувствие, будто что-то нехорошо... Еще про ее прыжок на сто семьдесят пять в каком-то манеже Господа Бога уловила и подумала, что волёжник задохликом быть перестал, а заумником так и остался... И зря он зациклился на этих ста семидесяти пяти – впрочем, откуда ему знать, что у нее в Москве, городе безжалостном, будто крылья выросли: в манеже сразу пять сантиметров прибавила, а на

стадионе – так вообще восемь. Эх, ее бы в 68-м в Мехико, где чешка со ста восьмьюдесятью двумя чемпионкой стала... но только где она и где Мехико! – безжалостный город крылья ей сперва отстил, а потом сам же и обломал! Даже в Дортмунд в 66-м не взяли, где, как пить дать, победила бы... Ладно, еще успеет во-пёжнику все о себе рассказать, теперь еще не раз увидятся, раз судьба сегодня так распорядилась. Наговорятся и... ой, это грех – такое загадывать! А вот почему грех?! И почему такое не загадывать, если тридцать девять уже стукнуло-шарахнуло? И баста, хватит его отоваривать, пусть лучше побыстрее опять приедет... скажет жене, что пора за мясом – и приедет!

Денег хватило, хоть и впритык.

А когда забирал пакеты, волшебно весомые даже и для его накачанных рук, сказал:

– Спасибо вам, Светлана!

– Заходите! – ответила она и подмигнула так филигранно, как это умели делать только великие распутницы, да и то в далеком восемнадцатом веке.

К поезду он поспел минут за десять до отхода, заскочил не в последний, шестнадцатый, вагон, а в восьмой, быстро прошел в свой пятый, из пакетов ничего не капнуло, жена наутро была счастлива.

И «соискать» продолжал, и в Москву все так же часто ездил...

Вот только в «Светкин» гастроном зайти не решился. Неловко как-то было: попробуй объяснить себе и ей, что стремился не в мясную лавку из обжорного ряда, а к Прыгунье, которая уже и не Прыгунья.

Гораздо ловчее было забегать к Лиле, которая обвешивала все проворнее, нарядные принимала все небрежнее и успевала иногда увлечь его в подсобку, где они ласкали друг друга все стремительнее и горячее.

А потом, когда дефицитом, кроме мяса и того, что из него, стали еще сахар, крупы, мука, творог, подсолнечное масло, вина, туалетная бумага и многое, и многое, и многое; когда впору было устанавливать крепкие горизонтальные связи с целым сонмищем Лиль – все лопнуло практически беззвучно.

И уж какие там прыжки? – их заменили шараханья и метанья.

Вот и Соискатель, успевший все же стать доктором физико-математических наук и профессором, шарахался, метался, обретал, терял, бил, бывал бит – а все же не пропал. Разбогатеть не сумел, но кой-какой достаток обрел.

«И все бы хорошо, да что-то нехорошо»...

А что же нехорошо? – то, пожалуй, что давным-давно ничего не «соищет».

Что, выходя ранним утром с пакетом мусора из подъезда, сначала пытается идти бодрым (как ему кажется) шагом, но вскоре вынужден бывает остановиться и ждать, пока сердце переключится с угрожающей аритмии на тревожный ритм. А потом бредет с пакетом, совсем невесомым для некогда накачанных рук; бредет печально, как на похоронах былых прыжков.

А что же она, Светка, Прыгунья? О, у нее никаких таких похорон не было и не предвидится.

Пока при мясе была, успела и дочечку Ладу от хорошего человека – жаль, умер быстро – родить, и квартиру двухкомнатную кооперативную построить, и поднакопить немного – в золотишке и валюте. Так что новая эпоха ее не разделя и не «обула».

Тот мужичок, который ее, Светлану, как-то чудаковато Заей звал и картошечку ей, грехи замаливая, жарил, в 93-м помер от остановки сердца. Умудрился, вечный недотепа, этакое сотворить не дома, а в Польше, куда вызывался ее сопровождать. Пришлось ей важные переговоры – побоку, и вместо нужного товара гроб с телом в Москву везти. Но уж раз живого – от нечего делать – привечала, то и мертвого ведь не бросишь...

И потом ни дня покоя: на Черкизоне точку держала, потом еще две. Не шико-вала, коттедж себе не строила, знала: настоящее богатство в любой точке «шарика» должно быть быстро-ликвидно – не зря то, что надежно, называется золотовалютными резервами. Мужиков меняла часто, чтобы к ним не прирастать, даже так, как к тому, который Заей называл и в Польше учудил. А они не прочь были к ней прирасти, что-то такое в ней вроде находили, хотя сама она себе казалась лошадью в забое, которая возит вагонетки с углем и света Божьего не видит. Которую в шахту опускают раз в жизни – и навсегда...

Но доченька ее, Лада, солнечным светом сверкающая, которую она в «Вышку» (не чета экономфаку МГУ!) учиться отправила, и парень азербайджанец, ее сокурсник, так друг друга полюбили, что едва дипломы получили – и вон из Москвы, в Баку, в родной город Прыгуны и ее зятя! И она за ними стремглав! И оказалось, что уже накопленного ей еще как на жизнь хватает, тем более, что Лада с мужем (он ее «Ладушка-оладушка» зовет, славно-то как!) быстро в карьерах своих ввысь устремились и все рвутся ей помочь. Да ничего ей, кроме их любви, не нужно! Наоборот, она им помогает, с внуком и внучкой возится. А детишки чудные, тоже светящиеся, так что, когда они с Ладушкой-оладушкой в обнимку сидят и на нее смотрят, она плакать готова, что вот же он, свет Божий, всё ж таки взвидела!

Так что, *вопёжник*, – думает Светлана, пробегая каждое утро из конца в конец самого длинного в мире и самого прекрасного Приморского бульвара, – это еще как сказать, навсегда ли я ушла из манежа Господа Бога? Ноги, говоришь, у меня были скульптурные? – так ты бы сейчас на них посмотрел, в серо-голубых, цвета воды, лосинах. Увидел бы, как все встречные бегуны смотрят и дивятся, откуда-де у такой стар-бабки такие ноги?

### **«И все бы хорошо, да что-то нехорошо».**

Но что же при таком счастье может быть нехорошо, Господи?!

Обида на вопёжника еще гложет – вот что. Не за то, что в гастрономе больше не появился – она хоть долго потом чуть не каждую неделю новые ладные халаты шила, и блузки под них надевала нарядные, и джинсы на ней были всегда самые фирменные, однако думала: не появится, что, наверное, и к лучшему...

Нет, не за то обида, а за совсем давнее...

Но когда-нибудь он в ее сон придет так надолго, что она успеет рассказать: не могла она тогда в аудитории, где столько позора натерпелась, оставаться. Да беда-то вся в том, что, выскакивая, уверена была, дура молодая, что и он следом выскочит.

А он со своими лагранжианами остался.

А она почти до конца пары у аудитории проторчала, пока он внутри при своих лагранжианах оставался.

И потом навсегда с ними остался, а ведь она до сих пор мимо старого здания университета пройти-проехать без сердцебиения не может...

Но ничего, он к ней в сон придет, и она расскажет, что Геннадий Геннадьевич, которого, как отца, любила, его ей вроде как сосватал. Так и сказал: «Ты, Светка, за этого вопёжника держись! Он тоже в своем деле Прыгун будет».

Так что выходит, оба они её тренера подвели.

Особенно она...

На русском кладбище могилку его отыскала, ухаживает за ней, знает, что простили он ее.

А она простит своего вопёжника-задохлика-крепыша, чтобы обиды в ней совсем-совсем не осталось.

И скажет: «Знаю же, не просто так пришел, а в совсем дальнюю дорогу сорвался. Ну так, давай я тебя перед тем поцелую...».

## **НАБИ БАЛАЕВ**

*Наби Балаев – философ и критик, автор трактатов «Мамардашвили и время» (2010), «Поэт и время» (2014).*

*Помимо научных публикаций (их около 20), публиковался в журналах «Новая Польша», «Литературная Пермь», «Сетевая словесность» и т.д.*

*Родился в селе Ититала Балакенского района Азербайджанской ССР (1962), окончил школу-интернат №98 в Баку (1979), Пермский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории и права» (1989). Работает старшим преподавателем на кафедре философии в Пермской государственной фармацевтической академии.*

В народе говорят: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется». Если даже их отделяют океаны, истории, культуры, языки, они, как это ни удивительно, встречаются на острие абсолютно индивидуального поиска, – желания знать лично и олицетворять опыт преемственности и развития. Тут параллельные пересекаются (!).

Такая духовная встреча с Чеславом Милошем произошла у меня, и эта встреча имела определенные последствия. Мне был интересен опыт абсолютно чистого описания ситуации, когда Зло одевается в твой образ и ты – лишь окровавленный свидетель собственной смерти... (смотри, например, **его** «Ангел смерти» в переводе Дубина).

(Смерть приходит в любимом костюме, чтобы мы не испугались. Обнаженная смерть... «История» – кровавая рубашка...)

И я послал плоды внутреннего диалога с **ним** – как знак некоторой духовной услышанности («Дитя Европы») – в Беркли по электронной почте.

Вот что Милош ответил из Krakova:

29.08.2000

Dear Nabi,

through forests and valleys your voice reached me in Krakow.

Thank you for your poems.

Czeslaw Milosz.

## **«КАТАСТРОФИСТ НА ПЕНСИИ...» ИЛИ СТРАСТИ ПО ЧЕСЛАВУ МИЛОШУ**

*(ФИЛОСОФСКИЕ ШТРИХИ К ПОЭТИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ)*

### **1**

«Катастрофист на пенсии», чувствовавший свое время в общем безвременье, где дети смерти и перевертышей сами себя не различают и куют монументы собственных плах. И пытающийся обозначить контуры собственного существования и раздумья, по пути подыскивая предшественников и последователей такого нелегкого бремени...

Как поэт – он смертный свидетель времени, оглянувшийся на прошлое и на будущее как настоящее око, как око настоящего во времени...

Видел он Польшу между двумя чудищами и, разглядывая в исторической топке ее сыротасть, ее оброслость мхом лени, ржавчиной идеиной и безверием – несмотря на свое христианство, глубоко взыхал и разряжался громом катастрофизма.

Христианин на пенсии, он и тогда был – судя и по ранним произведениям – молодым пенсионером сугубого времени, в котором он различал, **что** принадлежит историческому времени, **что** безвременюю и антигероям.

Литература измеряется объемом реальности, выраженным словами.

Как поэт олицетворяет время, становится его образом, лицом, словом, какие со-блазны и трудности предостерегают его на этом пути, какое наследство получено и какие обязанности и перспективы предстают перед ним, – тем более в «другой Европе», – все это незыблемым образом предъявляет счет читателю и исследователю наследия Милоша.

Поэт перед лицом времени узнает себя, раскусывает темя самовыражения, очерчивая границу возможного и невозможного, предстает каким-то образом этой связи, парадоксальностью, к которой невозможно привыкнуть...

Милош и время, что памятно и смертно, а что тянется, как кусок непережитой жизни, как комок в горле застрявший...

Черта великих поэтов – принять мир как таковой и его формы... Принять, например, и «другую Европу» как свою, описывая внутреннюю драматургию распада и бурю сопротивления, кровь жертв и слезы свидетелей... А также немых свидетелей, глядящих – как они вне времени славы и позора...

Опыт Милоша примечателен как опыт уцелевшего катастрофиста, дожившего до «пенсии»... Как он понял характер времени и определил задачи гражданина и поэта... Характер исторической ситуации и иллюзии современников (не важно, откуда пришедшие и как они называются), которые перед лицом катастрофы, в лучшем случае, как Виткович, могли порезать себе вены...

В самой литературе видя черты раздробленного времени, черты все больше пропступающих мутантов – языков, черты анаболического слова, разряжался «нобелевскою речью», чтобы предупредить...

Поэт – для которого время не существовало само по себе, а могло существовать лишь как продукт «жажды видеть и желания описывать». Что еще надобно поэту? Большего требовать – себя не уважать (служенье истине – не терпит суеты).

Как он анализирует источники своего сопротивления в самих польских современниках, ищет всходы исторических попыток, этих распятых душ саможертвования – посреди христианского спасительства и жерновов контрмира. Поди озирайся, огляди завещанный камень безразличия и мудрости, и держись в пути – между сограющими в гетто и гордящимися этим...

## 2

Милош, Милош... между душою и смертью карабкался на гору, как на дорогу. Вздымающиеся лица времени узнавали твою легковесность, зоркость и ясность ума (местами прощая солипсизм). Узнавали и прощали твой расчет, твою попытку воздать и назвать другую Европу тем, что она есть, твоим пристрастиям, описаниям клекота бездарного труда. Материя подменялась, кривлялась, сопротивлялась, но твои «Песенка о конце света», «Дитя Европы» и «Видение, достойное Сведенборга» исчерпывали тему. Все было узнано, названо и представляло в великолепных ризах и лохмотьях.

Игроки литературного поля, гоняющие мяч филологии, экспериментаторы филологических перетасовок, дети смердящего языка, этого разлагающегося трупа, должно быть, помнят и трепещут – и навечно на это обречены – перед твоей «возможностью видеть» и «способностью описать».

### 3

Поэзия, язык, глухое слово... – ком не услышанной, неназванной жизни. Представьте себе, что язык, например, вообще соткан из «ахов» и «охов», брезгливого брюзжанья тех, кто и собственного имени-то не знает...

История не вошла в их топос, не предстала увиденной реальностью и не расставила точки над «и», назвав вещи своими именами и расширив горизонт виденья и наследованья, или, скажем, соединяя отсвет Сафо с лирическим голосом Ахматовой, – только скрип и всхлип... Трупный запах отправляет саму возможность аппетита слова...

### 4

Развалины мира на сопливых надеждах его обитателей, чертыхающихся сырыми, непереваренными вздохами и выдохами – «ахами» и «охами». Глядя в глаза действительности, расшифровывая памятки и веточки роста (предстающие удивления), морщащиеся, смущающиеся, соблазняющиеся ленью подражанья – вся эта полулежащая интеллигентщина – должно быть на километр не переваривает дух Милоша, этого гиганта незаметных мгновений... Между прочим живя, между «адом» и «раем» Европы, и не доверяя ни тому, ни другому, на свой страх и риск раскладывающий и разгадывающий карты собственной поэтической судьбы, судьбы художника неизвестной Родины... Судьбы выпавшего свидетеля. Жажды видеть и желание описывать... В этих искорках самосознанья упаковано его мироощущение поэта – гражданина Европы или Мира.

Мир, разглядывая это зеркало собственной идентичности, должно быть, узнает собственную кривую рожу, раздосадованно принимая эту зоркость катастрофиста:

Я теперь – катастрофист на пенсии,  
Меня уже ничего не спугнет,  
Ни гиганты павших империй,  
Ни стены собственного дома.

Длинная дорога моя подруга.  
И низкие высги собственных улиц  
Мне служат тропинкою для Бога  
И для распознаванья собственных лиц...

Я теперь уже катастрофист на пенсии,  
Ничего не удержит меня от жизни,  
И жизнь для меня – не облик Венеции,  
А родного Вильно кривизны...

Картавый облик родственной речи,  
Что порой до Земли достает,  
И, как пощечина народных наречий,  
Из сердца болью встает, –

Предсказывает порой разговоры,  
О войнах, о жизни и смерти,  
И ведет с судьбою переговоры  
О том, о сем – на что похожи черти...

*Я теперь катастрофист на пенсии,  
И судьба больше не спугнет,  
Я словно Дант – из Флоренции,  
И Европа – по-прежнему – живет...*

## 5

Уверенности католической Европы добавил – если не сказать – противопоставил – поэтическое сомнение, и слогом самодостаточного языка свидетельствовал о картинках рая и ада. Оказавшись между «раем» и «адом» Европы, не возлюбив ближнего своего, да и врагов тоже, милостью строптивого студента ухайдакивал тропы, кем-то завещанные: как то Симоной Вейль или Милошем предыдущим (Оскаром Милошем). Разгребая мусор душ, наблюдая над горизонтом сцепившихся кривых рож, за этой историей пожираний, с холоднокровием – нет, не сектанта и не богослова, и не картавого интеллектуала, сопливо размазывавшего по стенам собственной слепоты слюни недоумения – с холоднокровием мужественного стоика, обладающего оружием победы над этим безумием, над этим «порабощенным разумом»... «Мир», расхожий образ дегенератов, заместивших сами знаки реальности и пытающихся вообще отменить реальность – в каких бы формах она ни пропустила.

Поэты плоскодушные, трепыхающиеся и жующие собственное жало вместо того, чтобы владеть языком как формой, спекулятивно экспериментирующие филологическими охапками мертвых слов. Должно быть, позор и гнев вскипал в душе Милоша перед лицом состоявшихся величин и низостью душ, замарывающих само призвание Поэт. И терпеливым великодушием, соразмерностью частной вселенной, способной представить на кончике пальца всю мировую литературу, и ракурсом всевидца делился открываящимся образом слова. Дитя Европы, читатель Декарта, – тоскливой интонацией по упущенными возможностям. Модернист (то есть современник вечности), утверждающий, что он – антимодернист (тут мы могли бы предъявить историко-этимологические претензии к прозаическому стилю Милоша, когда думаемое не совсем совпадает с формой выражения того, что думается), а в целом – соразмерное око времени, запечатлевшее историческую суть как человеческой драмы как таковой, так и трагической формы этой драмы в XX веке.

**«Другого конца света не будет...»**

*«Старая Европа» сошла с ума,  
Да и «Новая» тоже...  
Похоже, их обеих поглощает идеальная тьма, –  
Мороз по коже!  
Картавым интеллектуалам трепаться еще долго,  
Священникам – умалчивать жизнь и гладить по голове,  
И позабывшим, что они были детьми Бога,  
Молвить тоску и рыдать на переправе.  
Река жизни уходит в облака...  
И помнящим, откуда дорога,  
Может показаться – как свет издалека –  
Живая божественная тревога.*

---

**ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ**

**СВЕТ-И-СУДЬБА**

*Поэма*

**Светлой памяти Наталии Лихтенфельд**

*«О, если бы я только мог...»*

**Борис Пастернак**

*«А глаза такие синие,  
А душа такая нежная...»*

*Словеса мои бессильные,  
Но любовь моя безбрежная».*

**E. C.**

**Я знал: с тобой не пропаду,  
Любую обойду беду,  
Шагая трезво над обрывом.  
Пусть даже полчаса в году  
Я жил с тобой – я был счастливым.**

**Молясь – тебе, тебя – любя,  
Я жил, семейная ладья  
Плыла под флагом Гименея.  
А то, что было без тебя,  
Прокомментирую позднее.**

**И не было ни ссор, ни склок.  
Советский южный городок  
Ты мне открыла как планету.  
О, если бы я только мог  
Вернуться на планету эту.**

**Райцентр пустыне был сродни,  
Но мы там жили не одни.  
И часто прилетала музा.  
Текли медлительные дни  
В глухи Советского Союза.**

**Как много мы читали книг!  
Я там, в провинции, постиг,  
Что книга лечит человека.  
И Блок велик, и Бек велик,  
И Достоевский, и Сенека...**

**В любви безгрешны плоть и страсть.  
В провинции надежна связь  
С живой всесильною вселенной.  
У нас дочурка родилась,  
Детеныш светлый наш, бесценный.**

Потом – Москва, наш новый дом.  
Мы жили-были там втроем  
В малюсенькой смешной каморке.  
Но все-таки при всем при том  
Мы в горку шли с тобой, не с горки.

И это был наш звездный час.  
Настишка радовала нас.  
И мы ходили с ней в Кусково.  
И было время про запас  
У нас, и жизнь была фартова.

...А я спешил, а я грешил...  
И погружался в черный ил  
Измен. И это подло было.  
И постепенно стал не мил  
Тебе – и в раз лишился тыла.

Я причинил так много зла  
Тебе, и ты, всплакнув, ушла  
И забрала с собой малышку.  
...Я пил водяру из горлá  
И хватанул, конечно, лишку.

Жизнь поцелует – так взасос,  
А замордует – так всерьез,  
Крутые выкинув коленца.  
Я завершил запойный кросс,  
А ты женою стала немца.

Мне было тягостно, невмочь,  
Но я мечтал тебе помочь  
И часто посыпал деньжата.  
В гимназию ходила дочь  
По гулким улицам Арнштадта.

А все же получилось так:  
Хоть дома много передряг,  
Но спорить бéз толку с судьбою.  
Ты позвонила: «Этот брак –  
Ненастоящий. Я – с тобою».

Не знал, что мне так повезет,  
А все-таки под Новый год  
Мы встретились, мы были вместе.  
Райцентр был сладким, точно мед,  
А ты была под стать невесте.

С тех пор ты стала приезжать  
Домой, и мы за пядью пядь  
Прошли наш путь, и дочка с нами.  
И ты была такая мать,  
Что трудно описать словами.

**Потом я вдруг разбогател.  
В Берлине приобрел надел  
Земли, домишко и квартиру.  
Мы стали восполнять пробел  
В комфортных странствиях по миру.**

**Легко, спокойно было нам.  
Мы приходили к берегам  
Байдерочной веселой Шпрее.  
И пили кофе на Кудам<sup>1</sup>.  
Жизнь становилась к нам добре.**

**И воздавала нам с лихвой,  
Когда по древней мостовой  
Шпандау, ладного района,  
Мы шли, и город, как живой,  
Смотрел на нас с тобой влюбленно.**

**А Настя выросла, она  
Теперь и мама, и жена.  
У нас теперь с тобой внучата.  
Чудесны эти времена:  
Я – дедушка, ты баба Ната.**

**А есть еще Несебр, Бургас,  
Где море привечает нас,  
Где летом все семейство в сбore,  
Где изучают кроль и брасс  
Внучата в теплом синем море.**

**Увы, константы в мире нет.  
Мы были вместе сорок лет.  
Но ты ушла в такие дали,  
Откуда близкие привет  
Мне раньше не передавали.**

**Ты все равно в с е г д а со мной;  
И в час дневной, и в час ночной.  
А встреча наша – недалече.  
Когда отправлюсь в мир иной –  
Мне будет хорошо. До встречи.**

**2022**

Евгений Степанов (1964) – поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М.В.Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатался в журналах «Литературный Азербайджан», «Урал», «Нева», «Звезда», «Дружба народов», «Знамя», «Наш современник», «Арион», «Интерпоэзия», «Юность», «Волга» и других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А.Дельвига («Литературная газета») и премии журнала «Нева». Живет в Москве и поселке Быково (Московская область).

<sup>1</sup> Курфюрстендамм (нем.), «Курфюрстова дорога», сокр. Кудам – знаменитый бульвар Берлина.

**ХАНЫМ АЙДЫН**

**Воробушек**

*Рассказ*

**Перевод Ниджата МАМЕДОВА**

*В детстве я хотела быть героем. В своих фантазиях я то и дело спасала кого-то от пожара, лавин, утопления. И я получала от этого божественное наслаждение, гордилась собой. Может, сейчас Бог осуществил мою мечту стать героем. Велел: иди и будь героем, если хватит сил, и даже если не хватит...*

Я лежу лицом к стене на койке роддома. Всё пропахло лекарствами. Утро только пробует наступить. Смотрю на телефон, 6 часов. С другой стороны плотно закрытого окна слышно чириканье воробьев. Всё тело болит, а тут еще и это чириканье сводит с ума. Были бы силы – сунула бы голову под подушку и заткнула бы уши. Выбилась из сил. По скрипу двери поняла, что зашли в палату. Осторожно поворачиваюсь к двери. Всем матерям приносят покормить малышей, только не мне. На мгновение даже перестает быть больно. Я тут же жалобно стону, хотя это мне совсем не нравится:

– Где моя дочурка?

Медсестра откидывает голову, стряхивает челку.

– Она очень слаба, пока нельзя, мамочка!

– Но ведь я ... ведь я ... – бормочу я растерянно.

– С вопросами, мамочка, обращайтесь к врачу. Всё, я побежала, работы невпроворот. Нам в отличие от вас некогда разлеживаться.

Она убегает, смеясь, а я корчусь от боли. От матраса и простыни подо мной исходит странный запах. Не могу разобрать, пахнет кровью, мокрым или Бог знает чем! Отворачиваюсь то вправо, то влево, но без толку; этот противный запах забивается в нос. Мне выдали больничный халат, который напоминает смирительную рубашку. Может, всё не так уж противно: ни матрас, ни простыня, ни халат. Будь проклята моя дотошность. Вот очухаюсь малость, достану из «роддомной сумки» свою одежду. Вот бы выбраться отсюда и искупаться...

Так и корчусь от боли. Не могу шевельнуться. От бессонницы кружится голова, но заснуть не могу. Мне неспокойно. Как поговаривала бабушка, все эти нескончаемые беды доведут меня до ручки. В голове медленно вертятся баяты, как показатель на старых счетчиках: «Играй на балабане, тихо играй на балабане, матерям принесли детей, а моя малютка где?!» От этих мыслей никуда не деться. Мама снова прислала из дома сумку с едой. Ну и что? Есть-то не могу. Запах еды на тумбе шибает в нос, меня воротит. Мои глаза ищут рожениц, которых никто не навещает. Я тихо говорю: «Ешьте, пока горячее, у меня всё равно нет аппетита». Не успеваю закончить фразу, как они хватают казан. Мама каждый раз говорит: «Дочка, скажи, чего тебе хочется, приготовлю и принесу. Так ведь нельзя. Ты столько крови потеряла». Но тете я сказала, что хотелось бы себзи<sup>1</sup>. Бедная тетя звонит снизу:

– Родная, я приготовила тебе себзи, поешь, ради Бога. Я отправила через санитарку...

<sup>1</sup> Себзи – баранина с зеленью.

Честно говоря, я это сдуру сказала. Не думала, что она проделает весь этот путь, приготовит и принесет в такую жару. Я отламываю хлеб и пару раз макаю в тушеную зелень. Закрываю глаза и проглатываю, как лекарство. К мясу даже не прокусаюсь. Через пару минут соседки по палате возвращают пустой казан. Их причмокивания и чавканья раздаются у меня в ушах.

Ладно уж... Я уже несколько дней кормлю голодных малышек тех матерей, у которых нет молока. И пока кормлю их, где-то в глубине души думаю, что, может, Бог вознаградит меня за это добро. Бог всё увидит и выведет меня из этой тьмы на белый, как грудное молоко, свет...

Четвертый день. Копошусь в постели. Мама написала сообщение: «Держи ноги в тепле, ты сейчас слаба». Я ворчу про себя: «Мама, и так ведь жарко, лето на дворе. Я тут умираю от переживаний, а ты всё о своем»...

Снова скрипит дверь. Некому, что ли, смазать петли... Вдруг вижу над моей головой зависает улыбающаяся медсестра с крохотным запеленатым младенцем, напоминающим люля<sup>1</sup> в лаваше. Она стоит боком, открытым карманом ко мне в привычно-профессиональной позе: «Дай мне магарыч, стонешь и плачешь целых четыре дня – даже на проспекте слышно!» Вынимаю деньги из ящика тумбы и кладу ей в карман. Она даже «спасибо» не говорит.

Сначала радуюсь как сумасшедшая, потом меня охватывает тревога. Чувствую, как холдеют руки и ноги. Перевожу взгляд с ребенка на медсестру. Взгляд поднимается и опускается. На мгновение приходит в голову, что надо подняться и бежать из палаты. Бежать, убежать далеко. Внезапно раздается голос малышки, я перестаю беспокойно переводить взгляд и выхвачиваю дочурку из рук медсестры. Прижимаю к сердцу. Боже, что это за чувство, как это назвать? Как это крохотное существо осталось внутри меня, как оно дышало, как из маленькой точечки разрослось до таких размеров?

Она чмокает губами. Глядя на нее, вспоминаю образ женщины из наших народных сказок; то, что пишут, восхваляя красоту девушки: миндалевидные глаза, брови серповидные. Вот и она такова.

Теперь даже не знаю, что с ней делать, как ее держать в руках, как быть. Как будто это вовсе не я уже четвертый день кормлю чужих детишек. Я впервые обняла ее. Все внимание девушек в палате было приковано ко мне, и они о чем-то шептались.

А я просто смотрела на нее, не пытаясь понять, что происходит у меня в душе...

Вечер. Дверь снова скрипит. Это мой доктор приближается вприспрыжку. Садится рядом со мной, кладет руку мне на плечо и странно смотрит. Я не могу разобрать, что кроется за этим взглядом. Усевшись поудобнее, она открывает блокнот:

- Как тебя зовут, дочка?
- Нарын.

Я чувствую, как раскраснелось лицо от волнения.

- Сколько тебе лет?
- Девятнадцать.
- Это твой первый ребенок?
- Да, первый.

Хотя она пытается выглядеть хладнокровной, я вижу, как она внутренне напряжена.

- Ты раньше делала аборт?
- Нет-нет, никогда.

<sup>1</sup> Люля – шашлык из молотого мяса, продолговатой формы.

— Ладно... Я сегодня остаюсь на ночную смену. Приду, поговорим.

Я остаюсь хлопать глазами: «И это всёёёё??»

У полной, высокой, смуглой докторши в очках, украшенных драгоценными камнями, странное имя – Гудратханым. Когда я к ней обращаюсь, у меня язык заплетается – Гудратханым-ханым<sup>1</sup>. Когда она входит в палату, весь тутошний смрад рассеивается. Аромат ее «Sisley» появляется прежде нее самой. У меня к ней странно-родственные чувства. К тому же она властная, а я люблю властных женщин.

Близится вечер. Шум проезжающих машин постепенно стихает. Малыши уже давно сладко посапывают в маленьких кроватках, выстроенных бок о бок. Мы, мамаши, все лежим в постели и разговариваем. Здесь одна тема: все говорят только о родах. Меня передергивает. Ей-богу, от этих разговоров в животе снова прорезается боль. Бабушка поговаривала, что во время родов женщина стоит лицом к лицу со смертью. Тогда я этого не понимала. Только-только начинаю понимать.

Девушки продолжают свою беседу, я слушаю вполуха и прихлебываю чай. А сама думаю: интересно, как мать безошибочно узнает, в какой кроватке лежит ее ребеночек в детской палате, тут же идет прямо к нему? Что связывает это крохотное существо с матерью даже после того, как перерезана пуповина?

Снова скрипит дверь. Это Гудратханым-ханым. Она ведь еще днем говорила, что останется в ночную смену. Она снова подсаживается ко мне:

– Ну, как дела, мамаши? О чем болтаете? Что ели-пили? В комнате пахнет баклажанами в уксусе? Вам не стыдно?! Ваше молоко провоняет, ребенок не станет брать грудь! Тысячу раз говоришь, всё без толку...

Доктор недовольно качает головой.

Они снова начинают судачить, как деревенские бабы. Тошно смотреть на такое. Как будто бабки на лавочке. Наконец я перебиваю их и спрашиваю ее о необычном имени. Она, видимо, наученная опытом, отвечает на одном дыхании, словно озвучивает заранее подготовленный ответ:

– Знаешь, Нарынка, моя родная, отец мечтал иметь сына и назвать его Гудрат. Не вышло. Моя мама была больна по женской части и родила только одного ребенка. И это – девочка, то есть я. Отец назвал меня Гудратханым, чтобы хотя бы частично осуществить мечту. Честно говоря, мне нравится мое имя. Тебе не нравится?

Я улавливаю, что ее голос такой же низкий, как мужской. Но, несмотря на баритон, говорит она певуче. Прямо как родной человек...

Она говорит, смеется. Внезапно замолкает и встает, зависает над моей головой. Я взволнованно поднимаю глаза и сглатываю. Ей хочется сказать что-то важное. Я тоже пробую встать, но она тут же берет меня за плечо и возвращает на место. Золотые браслеты на ее запястье касаются друг друга и позывкают у моего уха. Я ясно вижу волнение на ее лице, будто после землетрясения. Тревога терзает меня, как волк, завывая над головой. Не могу отвести от нее глаз. Чувствую, что она прячет взгляд. Обращаю внимание на ее действия. Она движется на автомате. Она снимает руку с моего плеча и сует в карман. Ее руки, кажется, не помещаются в карманы, набитые бумажками. Вынимает руки и подпирает ими бока. Не произнося ни слова, ходит из угла в угол. Почему-то все, кто только что чесали языкком, сидят, набрав в рот воды. Она проходит между кроватями к окну и смотрит во двор. Не знаю, что она там видит в темноте, но смотрит неотрывно. Затем слегка покашливает.

– Принести вам воды?

– Нет, Нарын.

Она продолжает, не поворачиваясь ко мне лицом:

– Как только приедешь домой, вызови участкового врача, пускай внимательно осмотрит ребенка.

Сказав это, она отходит от окна, идет к двери и, не глядя на меня, говорит:

<sup>1</sup>Ханым – уважительное обращение к женщине.

– Хорошо, родная?! Будь сильной и терпеливой. Все будет хорошо. Вот увидишь! Ты же сильная девочка!

Последнюю фразу она произносит на пороге и выходит, чтобы я больше не задавала ей вопросов. Мое разочарование написано у меня на лице. Как будто кожа на моем лице стягивается и обвисает. Встаю и выхожу из палаты. Шаркая тапочками, захожу в детскую палату. Даже сама не знаю, как интуитивно нахожу ее кроватку среди всех этих малюток. Она лежит, вытянув крохотные, нежные и слабые ручонки. Прямо как воробушек. Да и сама она не больше воробья. Выкидываю из головы слова доктора. Про себя, в каком-то отдаленном, но окутанном любовью уголке своей души я уже назвала ее «Воробушком». Когда ощущаю ее молочный запах, меня покидает вся накопившаяся боль. Весь долго терзавший меня страх, вся боль или нечто в этом роде улетучиваются без остатка от чар этого запаха. Это необычное и еще очень новое для меня ощущение. Маленькое, крохотное существ осторожно открывает и закрывает свои сощуренные глаза, между ресницами блестят две голубые бусинки – глазки, она чмокает нежными губками. Мне в глаза бросается бирка на ее запястье с моим именем, фамилией, ее датой рождения, весом, ростом и указанием пола – «девочка». Я растрогана. Точно такую же бирку с моими данными мама до сих пор хранит в чайнике сервиса «Мадонна» в серванте. Значит, и вправду это столь дорого и ценно...

\*\*\*

...Наша первая встреча с врачом оказывается намного тяжелее, чем я ожидала. Участковый врач – женщина с изысканными манерами. Она не решается сказать всё начистоту, трепыхается, как птенец, угодивший в силок. Даже не притрагивается к чашке чая, что я ей налила. Чувствую, как у меня кругом идет голова. В таких случаях у меня всегда краснеет лицо и ёкает в животе. Врачиха смотрит на пол, на потолок, затем на мою мать. Она смотрит по сторонам, только не на меня. Встает, подходит к окну и смотрит на детей, играющих во дворе среди зеленых насаждений. Кажется, она понимает, что у меня вышло всё терпение, и, наконец, решает высказаться. Снова подходит к Воробушку, вставляет в ухо фонендоскоп, прикладывает холодный серебряный диск на ее теплую грудь. Снимает наушник фонендоскопа и осторожно убирает его в кожаный футляр. Мое сердце разрывается от этой еедержанности, ей-богу. Высокая, полная, коротко стриженная докторша в лукообразных очках, похожих на очки моей бабушки, одетая в белоснежный накрахмаленный халат, отпивает пару глотков давно остывшего чая.

– Подогреть ваш чай?

– Нет, всё нормально, – делает она паузу. Видно, что она расстроена. – В больнице вам ничего не сказали? – она снимает очки и растерянно отводит взгляд.

– Нет, врач сказала, что нужно провести тщательное обследование.

Я пожимаю плечами. У нее недовольное лицо.

– Эти «роддомовские» врачи даже слово сказать ленятся. Не хотят показаться плохими. Хотя им надо всё говорить начистоту, чтобы мать знала, что ей предстоит. Нашли легкий путь. Посылают к участковому врачу, чтобы та сказала горькую правду, а затем кое-как утешила мать.

Пока доктор говорит, я, выпучив глаза, наблюдаю, как шевелятся ее губы. Какие церемонии, какой пафос, «разговор издалека»...

Ноет сердце, я судорожно сглатываю. Да и она тоже. Так судорожно, что я явно вижу, как слюна проходит через глотку. Часто берет салфетку и вытирает пот. О Боже, если бы она закончила говорить, я поняла бы, в чем проблема. Воробушек начинает дергаться. Кладу соску малышке в рот, она выталкивает языком. Врач советует обмакнуть соску в мед. Как только вкус меда пропадает, она снова выталкивает

соску кончиком языка. Я беру ее на руки и успокаиваю, но внутри у меня всё кипит и готово взорваться.

— Доктор, мне уже невмоготу. Понимаю, что вы собираетесь сказать что-то со всем неприятное. Но поверьте, ей-богу, я сильный человек. Скажите же, наконец, в чем беда с этим ребенком. Мне уже невмочь...

Она начинает говорить о какой-то болезни. Поначалу ее название звучит для меня как «таун». Поскольку то, о чем она говорит, не имеет ничего общего с тауном, я переспрашиваю название болезни. Оказывается — это синдром дауна.

— Что же это за проклятый Даун? Настолько тяжелая болезнь, что вы не осмеливаетесь сказать?

— Значит, так... Это генетическое заболевание. Х- и Y-хромосомы...

У меня каша в голове, я ничего не понимаю. Понимаю только то, что это образование чего-то такого, что вызвано хромосомным сбоем, но доктор продолжает говорить о «х» и «у». Это напоминает мне ось координат х – у. В мозгу бьет тревога: я нахожусь на грани большой катастрофы. И мне срочно нужно что-то сделать. Очень срочно! Но что?! Что мне нужно сделать? Что? Что? Что???

После ухода доктора остаюсь в безутешном состоянии — мои мечты и грёзы вдребезги разбиты, все надежды рухнули...

На следующий день думаю о случившемся, хожу из угла в угол.

— Мне подкинули чужого ребенка! Да! Стопроцентно! — говорю я себе.

Останавливаюсь, смотрю неотрывно в одну точку и погружаюсь в думы. Говорю решительно:

— Ага! Подкинули! Это не мой ребенок! Не может быть! Кто-то намеренно подменил. Чьи дети были там в тот день? — пытаюсь вспомнить. — Да, дети Айгюн, Шахлы... Интересно, чей это ребенок? Сейчас отправлюсь туда и переверну всё вверх дном. Пусть вернут моего ребенка! Бог знает, в чём доме он сейчас!..

Выхожу в коридор, достаю из шкафа туфли и бросаю на пол. Спешно надеваю. Когда открываю дверь, готовясь выйти, вдруг останавливаюсь и начинаю рыдать. Закрываю дверь и безвольно на нее опираюсь. Понимаю, что обманываю себя...

Несколько дней хожу как сама не своя. Не знаю, что и когда ем, пью, говорю. Часами тихо и безмолвно сижу в углу стены, скрючившись, словно в материнской утробе. В этой кажущейся тишине я представляю, как ломаю всю посуду в доме, срываю шторы, рву обои и вою, как бирюк на вершине горы. Я так громко вою, что ни один волк не смеет высунуть голову из норы. Кажется, судьба снова играет со мной. Но на сей раз все очень серьезно. Я безоружна в этой игре. Должна взять себя в руки. Даю себе пощечины, чтобы очнуться, сделать что-нибудь, найти решение. Или не знаю, что... Но снова нахожу себя скрючившуюся у стены.

...7-8 часов утра. Солнце просачивается сквозь золотые осенние листья и тонкими лучами спускается на землю. Смотрю в окно. Лучи словно бы говорят: «Держись за нас и поднимись к солнцу». Одеваю Воробушка, прикалываю к ее шапке амулет от сглаза и золотую подкову, привезенные из Хаджа, беру на руки, и мы выходим во двор. Стаемся дышать свежим воздухом среди сосен. Я думаю, думаю, думаю... Решаю выяснить, что это за болезнь, чтобы бороться с ней. Соседи поздравляют, говорят что-нибудь вроде доброго слова и не забывают о советах. Меня отвлекают эти звуки и слова, затем продолжаю с того места, на котором остановилась. Говорю всем «Спасибо, большое спасибо!», чтобы отвязаться, вот и всё. В голове и на сердце тяжело.

На следующий день... Рано утром стою в очереди к лучшему врачу города. Долго жду своей очереди в коридоре больницы с плачущим у меня на руках больным ребенком. Здесь никто ни с кем не вежлив, никто не уступает очередь. Ведь сюда не приходят подобру-поздорову. Шагаю по выложенным паркетам, переплетенным, как

и мои проблемы, шагаю и считаю: раз, два, три, четыре... Это мои первые шаги на мучительных больничных путях-дорогах...

Обед. Кормлю Воробушка, даже не присаживаясь. Вдруг слышу свою фамилию. Медсестра зовет на прием. Я оборачиваюсь так быстро, что заплетаются ноги. Поворачиваюсь кругом, как военные. Чуть не падаю на колени с ребенком на руках. Какая-то женщина в коридоре удерживает меня за руку: «Дочка, осторожно, у тебя ведь ребенок на руках...»

Врач, не меняясь в лице, совершенно отстраненно говорит молодой и неопытной матери, стоящей перед ним, то есть мне, «готовься принять удар». Он словно забивает мне молотком в мозг всю боль и страдания. Я думала, что больше всего страдала, когда умер отец. Я ошибалась. Я очень ошибалась. Только сейчас, выходя из этой комнаты с заедающей дверью, идя домой с Воробушком на руках сначала в метро, потом на автобусе, а последние 20-30 метров нетвердым шагом, я понимаю, каково это по-настоящему плакать, по-настоящему страдать. Смотрю на нее, и у меня разбивается сердце. Я привела ее в мир. И потому должна нести весь ее груз. Я пытаюсь отвести от нее глаза, но она смотрит на меня таким умным и глубоким взглядом, что... Она говорит, говорит глазами. Что-то мне подсказывает...

Начинаются долгие бессонные ночи, полные жалоб. Я пытаюсь обвинить почти всех вокруг себя, и я это делаю. Я обвиняю даже продавца хлора, которому вместо зарплаты выдали этот раствор и мебельное масло в добавок. Я упала. Я разбита. Мои бумажные кораблики прямо у меня на глазах затонули в лужах моих грез. Вода разъела клетки, и они расплзлись. Я глупа настолько, чтобы все отрицать. Может, я недостаточно сильна, чтобы поднять все, что со мной случилось, недостаточно взрослая, мои плечи еще не очень окрепли, они еще нежны, не покрыты мозолями...

От всех этих дум поникло лицо. Думаю и думаю целыми днями. Думаю и думаю, но выхода найти не могу. Слюю всего два-три часа и во сне вижу то, о чем думаю в течение дня. Я застряла между сном и явью, совсем потеряла голову. Забываю, что и куда положила, что и кому обещала, что и с кем обсуждала. А детали, связанные с числами, вообще не запоминаю. Вроде бы пишу в блокнот, чтобы не забыть. Без толку. Ведь куда деваю блокнот, тоже не помню. Мне страшно, к голове и лицу притекает жар. Рот пересыхает, в горле ком. Даже слглотнуть не могу, исхожу в приступах кашля. Чтобы успокоить кашель, выпиваю залпом стакан теплой воды, и тут звонит телефон. Торопливо допиваю воду большими глотками, медленными шагами иду снять трубку. Так же медленно произношу «алло». Даже не знаю, слышат меня или нет на том конце провода. Может, я сплю. Продолжая говорить, думаю: не во сне ли я?! А на том конце продолжают говорить. Кивками головы подтверждаю всё, что мне говорят. Будто меня видят! Только в конце бормочу: «Поняла, большое спасибо!» и бросаю трубку. Шаркая ногами, иду и беру огромный пакет с купленными по новому рецепту лекарствами и выхожу из комнаты. Бог знает, в чей широкий карман идут деньги за эти лекарства. Проходя мимо зеркала в коридоре, замечаю свое отражение. Давно себя не видела. Делаю шаг назад, откладывая пакет с лекарствами и смотрю на свои черты. На лице нет морщин, но что это за старческий дух, охвативший меня?! Пропасть в моих глазах столь глубока, настолько пуста, что любой желающий туда взглянуть упадет и разобьется насмерть. Стискиваю зубы, как сумасшедшая: поворачиваюсь лицом вправо и влево. Мои зубы выглядят желтыми и отвратительными. Чувствую исходящий от них плохой запах. Вспомнила, не чистила их утром. Не только сегодня утром, но и вчера, и позавчера, и позапозавчера. Забыла... Со вчерашнего дня накрутила волосы и собрала карандашом пучок на макушке. Я их распускаю. Пряди спутались, расческа их не берет. Кое-как их расчесываю и заплетаю. Чищу зубы и прыскаю себя духами. Пытаюсь хотя бы натянуто улыбнуться. Отчасти выходит, отчасти нет. Внутри у меня кипят слова только что звонившей докторши: «Ты

разрушаешь себя, теряешь себя! А ее тебе не жалко? Слушай, хватит! Ну так же нельзя! Ведь ты ей нужна! Понимаешь, нужна! Нужна ты ей, очнись! Если хватит сил, сделаешь всё, слышишь, всё! Если ты вот так упадешь, то погубишь и себя, и ее! Жалко же ребеночка! Она не виновата! И ты не виновата! Клянусь, ты не виновата! Хватит! Ты меня слышишь? Хватит винить себя! Скажи хоть слово, чтоб я знала, что ты слышишь!»

\*\*\*

Три дня назад ей исполнился годик. Она отличается от своих сверстников. Вижу ведь, отличается. Теперь у меня болит душа, а не тело. Меня задевают, когда одни смотрят на нас сострадательно, другие свысока, третьи и вовсе безразлично. Не подаю виду. Говорю, смеюсь. Отойдя на пару шагов от людей, слышу: «Бесстыжая какая, ей хоть бы хны!» Что поделать, стараюсь не прогибаться. Большинство ста-раются показаться умными и чему-то меня научить. Тоже мне академики! Они, не имеющие никакого отношения к этой болезни, видите ли, знают, а я не знаю! Терпеть их не могу. Не-е-е могу-у-у! Если честно, поначалу такие вещи очень сильно на меня действовали. Меня утомляло быть в центре внимания в дороге, на свадьбах, в автобусе. Сколько можно задавать одни и те же вопросы, говорить одни и те же слова, относиться с одной и той же насмешкой: «Вы со своим супругом родственники? В вашем роду есть такие? Это ведь генетическая болезнь! Значит, в ваших генах это есть, иначе она такой не родилась бы!» И так далее, и тому подобное. Иногда мне хотелось запереть двери и окна и не выходить из дома...

— *Мы с тобой точно не родственники, а? Поверь, я устала отвечать на этот вопрос «нет»! Так часто говорят, что я уже начала сомневаться в себе.*

*Внимательно смотрю ему в лицо. Кажется, он считает, что я сошла с ума. Сматрит на меня внимательно, ничего не говорит.*

— *Нет, не беспокойся. Я просто спросила. Никто меня не мучает своими распросами. Разок всего спросили, вот и из головы не выходит. Забудь. Всё в порядке...*

Я провожу этот день, как обычно. Уже за полночь. Сижу в гостиной, баюкая Воробушка на руках. Вспоминаю наш дневной разговор, то, как он смотрел на меня. Глубоко вздыхаю. Знаю, он тоже много думает и страдает. Но мужчины и мы, женщины, воспринимаем неприятности иначе. Особенно, если речь идет о детях. Я вынуждена не заходить слишком далеко при нем. В последнее время он стал очень чувствительным. Боюсь даже слово сказать. Всё его нервирует. Но я знаю, что это все оправдание. Все его думы о Воробушке...

Пытаюсь избавиться от бурлящих в голове мыслей. Я так устала, так устала, будто тысячи лет гребла на старой лодке вверх и вниз по Нилу. С одной стороны — усталость, с другой — страхи, с третьей — душевная боль. Я в такой панике, что не могу выбраться. Я упала в такой темный, полный паучьих сетей, кишащий нетопырями ужасный лабиринт, что не могу спастись. Меня охватывает ужасный страх перед будущим: что случится? Как случится? Мне говорили, что они живут всего восемнадцать — двадцать лет. Меня охватывает дрожь. Как так? Целых восемнадцать лет мучиться и воспитывать ребенка, а потом отправить под холодную землю?! Как я могу уложить ее на кладбище под холодную землю, а затем тихо-спокойно спать дома в тепле? Как я могу здесь утолять голод, в то время, как она там голодна? Как я буду глядеть в ее пустую кроватку? Как буду дышать, когда она не дышит? Как продолжу жить? Не рухнут ли на меня стены дома? Нет! Нет! Для меня это будет еще невыносимой. Когда я думаю об этом, сердце готово выскочить из груди. С другой стороны,

эти завывания ветра во дворе. Чуть раньше я убавила свет настольной лампы. В комнате полумрак. Вдох застрял где-то в легком. Снова вой безжалостного ветра. Тиканье настенных часов на кухне доносится из комнаты в комнату со скоростью света и вбивается мне в мозг: тик... так... тик... так...

От этого звука натягиваются, как струна, нервы. Встаю и прохожу на кухню. Не ленюсь и поднимаюсь на табурет. Снимаю часы со стены. Вытаскиваю батарейки и швыряю прямо в мусорку. Вешаю часы обратно и возвращаюсь в гостиную. Время застыло: пять минут четвертого. А ветер продолжает выть на улице. Завывает так, будто у него умерло дитя. Меня охватывает озноб. Мозг плавится: как это так – восемнадцать лет? Как это – она умрет? Может умереть даже от обычного гриппа? Как это – не сможет говорить, стать нормальным человеком, нормально думать? Как это так, как?!

Занавеска вздулась, как парус. Подхожу и нервно отдергиваю ее в сторону. Смотрю на небо, смотрю так, будто вот-вот рассеются черные тучи, и я увижу Бога! Мое нутро готово вывернуться наизнанку словно одеяло. Повторяю шепотом, не переставая: «Почему же, почему?! Тебе что, делать было нечего? Почему Ты ввергнул меня в эти страдания? Почему? Почему я? Почему снова я? На меня только хватило сил, не так ли? Почему Ты посылаешь мне только плохое? Тебе совсем не жаль меня? Ну, скажи мне, что мне делать, а? Что мне делать? Почему снова я?!» Я гневно задергиваю занавеску: «Не смотри, Боже мой, не смотри, как я страдаю, не смотри! Всё равно Ты никогда меня не видел, не замечал... Не надо видеть и сейчас!»

Сажусь на диван... Включаю радио и убавляю громкость. Поёт Шевкет Алекперова: «В жизни моей и дня счастливого не было. Плачу и плачу...» Рыдания комом встают в горле. Если она всё равно умрет, всё равно не выживет, какой смысл продолжать мучиться? И я буду мучиться, и она. Сколько можно колоть это крохотное тельце иглами, пичкать лекарствами?! Когда вкалываю ей лекарство, собираю кожу в горсти, ведь она такая худышка... А Шевкет продолжает петь: «Плачу и плачу я в темноте...» Я вся какая-то ватная. Слышу только песню и завывания ветра, думаю только о том, как избавить ее от страданий. Как сделать так, чтобы она не страдала? Как избавить от боли? Как сделать так, чтобы она не стеснялась сверстников по мере взросления? Чтобы дети ее не обижали? Как защитить ее от насмешек? Может... Может быть, взять сейчас и... Может, если она сейчас умрет, перестанет мучиться?! Зачем ей страдать до восемнадцати лет?! Как я буду, если она умрет? Гляжу ей в лицо. Приближаю пальцы к ее нежному, как у птенчика, горлу. По сути, достаточно только одного движения. Я так отчетливо чувствую ее пульс под своим указательным пальцем. Туп-туп-туп... Я больше не могу. Не могу справиться с этой участью. С каждым днем все тяжелее. Не могу выдержать этого груза. Но мне жаль ее больше, чем себя. Поплачу-погорюю десять-пятнадцать дней, но ни она, ни я страдать больше не будем. Если она умрет во взрослом возрасте, это измучит меня сильнее. Пусть как ангел улетит прямо сейчас, чтобы не поранить в будущем свои нежные крылья...

Открыв прищуренные глаза, она так ласково смотрит на меня: «Ма-ма!» Ниспадает дьявольское наваждение. От страха трясутся руки и ноги. Не могу держать ее на руках, быстро кладу на диван, чтобы не упала. Встаю. В панике отступаю на шаг. Что я делаю?! Хочу крикнуть изо всех сил, но мой крик комом застревает в горле. Так больно колет в спине, что не могу дышать. Умираю от боли и страха. «Вдруг сойду с ума?!» – начинает наваливаться на меня ужас. Тогда ведь совершу любую глупость. Теперь я боюсь сама себя. Нет, кажется, я полностью очнулась. Значит, есть причины, заставляющие пойти на убийство. Ничто просто так не случается,ничто...

Посреди этой неразберихи вижу, как Воробушек, раскинув руки, посапывает, уткнувшись в угол дивана. Тихонько беру ее на руки и укладываю в кроватку. Выхожу в коридор. И тут же возвращаюсь. Внимательно смотрю на ее грудь – дышит ли. Она столь слаба, что дыхание чувствуется еле-еле. Страх, тревога, все плохие предчув-

ствия в мгновение ока заползают мне в душу со всех четырех сторон света. Дрожа от волнения, прикладываю пальцы к ее ноздрям – к счастью, тепло. Дышит!

Снова выхожу из комнаты. Прохожу в гостиную и ложусь прямо на пол. Вспоминаю всё, что только что случилось, вернее, могло случиться. Хочу поскорее стереть из памяти и лечь спать. Боже! Никому бы не знать. И даже мне бы не вспоминать.

Двенадцать минут седьмого. Не слышно тикания часов на кухне, радуюсь, как ребенок. Натянув на себя одеяло, пристроила голову на подушке, и вот теперь во дворе начинают щебетать дрозды: тью... тью... тью...

Пробуждаюсь утром в дурном настроении. В этом полусонном состоянии провожаю его на работу. Потом сажусь за компьютер и, потягивая крепкий кофе, шарю в Интернете, а башка так и продолжает трещать. Значит, так: прогнозы по поводу 18-ти лет давно не оправдали себя. Люди живут с этой болезнью даже 100 лет...

\*\*\*

Покупаю новые книги для своего Воробушка. Показываю картинки и рассказываю. Привожу названия, называю цвет, качество предметов и вещей, которые мы видим по дороге: смотри, это дерево, это ствол дерева, его цвет коричневый, это листья дерева, они зеленые. Это небо, это облако, оно голубое. Это солнце, оно желтое. Это цветок, его цвет красный, желтый, розовый... Она просто слушает. Врач говорил то же самое, и в книге было так написано: «Она не вернет тебе услышанное тотчас! Наберись терпения! Рассказывай, говори. Может, год, может, два, может, три, а то и пять лет она будет только слушать. Услышанное будет копиться в памяти. В конце концов, ты увидишь плоды своего труда! Она вернет тебе всё накопленное! Просто будь терпелива и верь в это!» Что я и делаю, слепо верю...

На нашей последней встрече с врачом она сказала, что ребенку обязательно нужно общаться. Ей нужен детский сад, чтобы видеть и учиться у своих сверстников, правильно развиваться и интегрироваться в общество. Еще желательно иметь братика или сестренку. Врач настаивает на том, чтобы я родила еще одного.

– Нет, я не хочу. Еще не знаю, что со мной приключится. Что и как будет? Надо еще ее на ноги поставить, а потом...

– Ты ошибаешься, моя дорогая. Ты должна родить ребенка. К тому же здорового. Она будет учиться, будет брать пример. Она будет обращать внимание на сестру или брата, не важно, будет стараться быть похожей. Это поможет ей больше, чем уколы и лекарства. Поверь...

– Но ведь...

– Мне уже давно за семьдесят. Ты только сейчас всё это видишь, а я уже на видалась...

\*\*\*

Я обошла семь или восемь детских садов, умоляя директоров. В конце концов, одна из них сжалась.

Каждый день спрашиваю учительницу, как она себя ведет. Она довольна. Радостно встречаем утро, одеваемся и идем в сад. И вправду, на неё благотворно влияет коллектив, игры с другими детьми, общение с ними.

Это был месяц Рамазан. Я встала рано, чтобы поесть перед постом. Помолившись, отдергиваю занавеску. На этот раз без раздражения. Свожу руки в молитвенном жесте. Благодарю и молюсь Богу, на которого и которому жаловалась три года назад. Прошу себе сил и выдержки, а ей – здоровья, больше ничего. Втягиваю в ноздри запах Воробушка и ложусь спать.

Встаю утром и одеваю ее, как обычно. Украшаю ее короткие волосы и отвожу в садик. Прощаюсь и выхожу, ко мне подходит учительница.

— Как моя дочь? Не утруждает вас?

— Нет, совсем нет.

— Как хорошо. Я рада, — на самом деле, я знаю, что она никому не доставит хлопот.

— Меня мучают другие дети, а она нет. Будьте спокойны, — говорит учительница, улыбаясь мне.

Она идет к двери проводить меня. Я, не говоря ни слова, кладу деньги ей в карман. Ведь заботится о моей дочке. Думаю с самого начала проявить «уважение», чтобы она хорошо заботилась о ребенке. Держу ее за руку и прошу не возвращать мой дар. Она не препирается. Возвращаюсь домой с расцветшей душой.

Два часа дня. В темпе протираю окна, чтобы закончить работу к пяти часам и пойти за ней в садик; я вся в пыли. Было бы здорово успеть сполоснуться. Звонит телефон. Складываю тряпку, убираю в карман, тянусь к телефону, думая, к добру ли. Ночью мне снился плохой сон, лишь бы всё обошлось. Звонит директор детского сада. Мне становится плохо. Закрываю глаза, готовясь услышать плохое. Одной рукой держусь за сердце:

— Да, Севиндж-ханым.

— Здравствуйте. Пожалуйста, зайдите в сад.

Я очень переживаю. Наверное, что-то случилось. За секунду мне в голову приходит тысяча плохих мыслей.

— Что-то случилось с моей дочерью? — спрашиваю взволнованно. — Ради Бога, не скрывайте, что-то случилось с ребенком?

Женщина отвечает очень спокойным голосом:

— Нет, нет. Не волнуйтесь. Она в группе. Играет. Но вы лучше поторопитесь. Не ждите до вечера.

Если она настаивает на том, чтобы я пришла в детский сад, значит, что-то случилось.

Даже не знаю, как выбегаю из дома. Забываю закрыть окно. Сверху зовет соседка: «Ради Бога, купи мне хлеба, когда вернешься». По дороге текут машины, а у меня стынет кровь. Бегу стремглав в детский сад, думая о худшем. Вхожу в комнату, выкрашенную в светло-розовый цвет. Здесь большие окна. Жалюзи отодвинуты. Комнату ярко освещает солнце. Лучи преломляются в стеклянном стакане на столе. На стене висят несколько дипломов. Новая мебель, свежие цветы. Как только вхожу, вместо приветствия получаю «пощечину»:

— Ваш ребенок мучает и воспитательницу, и детей. Очень много жалоб от родителей. В моем детском саду нет места... эммм... таким ненормальным детям... Отдайте ее в спецсад! Поймите, я не могу держать такого ребенка в своем саду!

Эта пощечина врезалась мне в лицо, и моя щека будто бы заранее раскрылась этой пятне. Лицо зарделось.

— Ведь... Она никого... Воспитательница тоже довольна...

Директриса грубо сует мне под мышку документы моей дочки. Не позволяя вставить ни слова, толкает наружу входную дверь.

— Дорогая. Пойми меня правильно. Я не хочу портить репутацию своего сада. Все недовольны, все! Я не могу усидеть в кабинете из-за звонков. Отдайте ее в спецучреждение. Мой сад престижный. Отсюда я отправляю в школу умных, образованных, воспитанных детей. А ваша...

Она вежливо выгоняет меня. Я иду в групповую комнату. Расспрашиваю воспитательницу, она не говорит ни слова. Только когда прощаюсь и выхожу, понимаю по ее плачу, что она ни в чем не виновата. «Не плачьте, я вас понимаю, — говорю я. — Вы тоже нуждаетесь в куске хлеба».

Выхожу, да так стремглав, будто за мной гонятся.

Иду и плачу, прижимаю к себе Воробушка и ее документы. Вдруг нахожу себя дома, даже хлеб купить соседке забыла. За полночь, а я кручуясь-верчусь по дому, как юла. Снова ропщу на Бога. Гневно отдергиваю занавеску. Смотрю из окна, которое сегодня протерла, на небо – на Бога. Что мне теперь делать, как быть, сама не знаю, ведь я не от хорошей жизни отдала ее в садик. Думаю о родителях, которые бросают своих детей в садик, чтобы отдохнуть от них на пять-шесть часов, думаю и преисполнюсь ненавистью ко всем и вся...

Я ничего ему не сказала. Он продолжает считать, что Воробушек каждый день ходит в садик. Если бы сказала, знаю, это очень плохо на нем сказалось бы – очень плохо. Потому и смолчала. Когда найду новый садик, что-нибудь да придумаю. Скажу, что перевела ее сюда, потому что этот садик лучше, чем тот. Короче, найду, что сказать. Не хочу, чтобы он переживал попусту. Главное – найти новый садик...

Хожу-брожу, ищу новый садик. Умоляю то одного, то другого директора. Вот каково это – быть матерью. Просить и умолять того, кто ниже тебя?! Правду говорят, что ради ребенка и врагу в ноги бросишься!

Наконец, нашлась одна сострадательная.

– Умоляю, не торопитесь сказать «нет». Попытайтесь понять меня. Это – судьба человека. Не стану вас винить, если откажете мне. Но прошу, не говорите этого...

Женщина смотрит мне в глаза. Чувствую, что она вся в сомнениях. Наконец внезапно говорит:

– Приведите на неделю. Если воспитательницы согласятся, я тоже соглашусь.

Мой Воробушек идет в сад. Каждый день для нее новая страница. Воспитательницы очень любят и нежат ее. Для меня небольшие показатели развития, которые другие матери воспринимают как должное – настоящий праздник. Первые ее шаги, первый лепет, первые слова – всё это настоящее событие.

Решен вопрос с садиком. По совету пожилого опытного врача я беременна будущей сестричкой Воробушка...

Теперь я строю не только свое настоящее, но и будущее в соответствии с планами Воробушка. Давно ничего не читаю... Успею, завтра, – говорю себе и ничего не успеваю. Вожу Воробушка к врачу, в детсад, на занятия с логопедом, и вдруг начинаются схватки...

Появление второго ребенка в семье запоминается тем, что Воробушек ей улыбнулась, приняв за куклу, а когда малышка заплакала, то Воробушек, испугавшись, стала плакать громче сестрички...

\*\*\*

Ночь. Снова не могу заснуть. Сколько можно переворачивать подушку так и сяк, которая за все эти годы пропиталась моими слезами? Теперь меня беспокоят другие мысли. Допустим, пройдут годы, эта маленькая девочка подрастет. Ее полюбит какой-нибудь молодой человек. Моя дочь тоже его полюбит. Допустим, это будет одна любовь на миллион. Его родители узнают, что сестра будущей невестки даун, и испугаются того, что это скажется на их внуках. Запретят своему сыну жениться на моей дочери из-за ее сестры. Что тогда? Теперь будет страдать и второй мой ребенок?! Мало моих страданий, ее сестренка тоже будет тяготиться?! Ведь это несправедливо! Зачем ей страдать, почему она должна становиться несчастной?! Что мне тогда делать?! Какие слова я скажу в утешение заплетающимся языками?! О, Господи! Я так с ума сойду, ей-богу! Это горе сведет меня с ума. Снова плачу в подушку, уткнувшись в нее лицом, чтобы никто не слышал рыданий...

\*\*\*

«Заплатите в кассу, чтобы мы окончили работу по документации», – сказал мне доктор.

Я пошла, заплатила и вернулась в ту же комнату. Мне следовало прочесть и подписать протянутый мне документ, чтобы выразить согласие с условиями. Если случится то-то и то-то, и если ребенок, опекуном которого я являюсь, скончается во время операции, я не возражаю и не собираюсь привлекать врачей к судебной ответственности и не стану требовать уплаченной суммы. После того, как я подпишу документ в знак согласия, они проведут операцию. Каков же реальный вес этой бумажки весом всего 3-4 грамма, выданной матери, которая провожает своего ребенка на сложную операцию?!

В пять часов утра просыпаюсь от голоса медсестры на больничной койке на колесиках в дальнем конце длинного узкого коридора, на чьих стенах красуются дешевые репродукции известных картин. Полусонная, не совсем понимаю, где и почему нахожусь, но взволнованный голос женщины, ее пахнущие спиртом и йодом руки, которыми она, тряся за плечо, пытается меня разбудить, начинают вызывать в памяти смутные образы. Вдруг резко вскакиваю. Быстро бегу за ней. Такое ощущение, будто я сама бегу впереди, а ноги за мной не поспеваю. Поднимаемся на лифте на 4-й этаж. Я ушла отсюда 12 часов назад. Хотелось плакать, но не заплакала.

Собравшись с духом, подхожу к двери с надписью «Реанимация». Медсестра что-то мне говорит. То ли будучи полусонной, то ли сбитой с толку, не слышу её слов. Прямо на пороге задерживаю шаг, держась за дверную ручку, потом толкаю дверь и вхожу в реанимацию.

Три койки справа, три койки слева. Инстинктивно поворачиваю налево, прямо к ее койке, как это уже было в родильном отделении. Она лежит на койке слабая, с полузакрытymi глазами, как ангел. Ее волосы рассыпались по подушке. Но ведь утром я их собрала. Судя по всему, медсестра распустила. Не было ли ей больно при этом?! Кажется, я думаю о банальных вещах. Вздрагиваю на мгновение. Может, она и не жива?! Может, операция прошла неудачно?! Все ее тело под контролем дорогой аппаратуры фирмы «Сименс». «Бип-бип-бип», этот звук вонзается прямо в мозг, разделяется на полушария и выходит из висков. Видела в фильмах, раз слышен этот звук, значит, сердце бьется. Встаю над ее головой и молча смотрю. Она снова похожа на воробья. На маленького беспомощного птенчика. Страдаю, чувствую себя виноватой. Вдруг замечаю свои руки. Пальцы дрожат. Что делать? Хочу громко зарыдать. Нельзя, скоро выйду из реанимации и спущусь вниз. Все меня там ждут. Все ждут только намека, чтобы заплакать прежде меня. И он, и мама, так много людей смотрят на меня...

Хриплый шепот моего ангелочка «пить... воды...», и я тут же забываю о родственниках на первом этаже и переношусь на четвертый, в палату интенсивной терапии, пахнущую йодом, спиртом, наполненную гудением аппаратов искусственного дыхания. Но на этом высоком этаже я чувствую себя мертвецом, лежащим в самой глубине земли. И вдобавок целая скала на груди. Она просит воды, шевелится шнур, идущий от ее горла к венам. Все, что я могу, – это ласкать и целовать ее маленькие, похожие на шекербуру<sup>1</sup> ножки...

\*\*\*

Пожилая докторша была права.

Воробушек всему учится у сестры. Ведет себя, как она, сидит, как она, ходит, как она, ест, как она. Ее сестра для нее школа. Они вместе играют, вместе растут.

<sup>1</sup> Азербайджанская сладость в виде небольших пирожков из дрожжевого теста, с рисунком на поверхности и начинкой из молотого лесного ореха, сахара и кардамона.

Но я чувствую себя виноватой перед младшей дочерью, я не могу уделять ей достаточно времени и внимания. Даже если сама того хочу, никак не получается. Время от времени чувствую ее обиду по тому, как она смотрит своими черными глазами на Воробушка на моих руках. Иногда она меня спрашивает:

– Ты меня не любишь? Ведь ты не нежишь меня, как сестру.

Я говорю: «Дочка, она нуждается в заботе». Она кивает, будто меня понимает, но я вижу, что обида в ее глазах никуда не делась.

Я ставлю перед обеими одну и ту же еду, в одном и том же количестве. Младшая думает, что я кладу Воробушку лучшую порцию, и ревниво поглядывает на ее тарелку. Когда отворачиваюсь, слышу, как младшая меняет тарелки.

\*\*\*

Завтра 15 сентября. Все дети в нашем дворе, достигшие 6-летнего возраста, наденут школьную форму, матери приколют к косам дочерей белую ленточку, мальчикам повяжут галстук в виде флага, и они пойдут в школу. В этом году для них прозвенит первый звонок, а нам придется подождать, пока не исполнится 7 лет. На самом деле это печально. Думаю, и глаза наполняются слезами. Но хорошо, что жива надежда. Хотя мне придется ждать еще год, но 15 сентября следующего года я буду так рада отвести дочь в первый класс. Как хорошо, что есть надежда. Я плачу, молчу, плачу, молчу. Живу одной надеждой...

\*\*\*

За эти годы я становилась то верующей, то атеисткой. То искала спасения в Боге, то ненавидела Его и полагалась на собственную стойкость. Боюсь только смерти – смерти, которой никогда не боялась. Я нужна Воробушку. Я должна жить ради нее. Я не могу уйти, оставив ее в водовороте судьбы, не могу! Даже если умру, я взмolioсь тамошним и вернусь с моста Сират<sup>1</sup>, вернусь ради нее. Я должна стать опорой ее крыльям, которые хотят распахнуться в небо. Я должна защитить ее от падения во время первых полетов. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду я должна быть готова ко всем чрезвычайным ситуациям, и я готова...

Я видела, как перед моим лицом закрываются сотни черных дверей. Видела и белую дверь в конце коридора. Пока подрастала мой Воробушек, я за минувшие годы перевидела вся тяготы жизни – больничный запах, карманы врачей, кассовые чеки, долгие изматывающие поездки, многочасовые очереди на обследования, вынужденные просьбы. Я пережила все это и многое другое по крупицам, по секундам. Но я обнаружила себя в ее чистом, добром взгляде, далеком от ненависти, гнева и горечи мира. Поняла, что, независимо от того, хороший или плохой я человек, прежде всего я мать со всеми своими минусами и плюсами. И что я очень слаба перед ней, а позади нее очень сильна...

Этим утром я осторожно отдернула занавеску, которую некогда мысленно сорвала и бросила на пол. Весеннее солнце согревает мир и дарит любовь. Крохотные воробы на подоконнике, вертя головками, торопливо и немного испуганно клюют хлебные крошки, которые я спозаранку насыпала для них...

---

<sup>1</sup> В исламской эсхатологии, мост, который расположен над огненной преисподней. Мост Сират очень тонкий и не превышает размера волоса и острия лезвия меча.

## ТОФИК МЕЛИКЛИ

# ОТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОМАНТИКИ К СУРОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

*Московский период жизни и творчества Назыма Хикмета. 1951-1963гг.*

*«Мне не остается ничего другого, как сделать своим оружием смерть, а себя самого – пулей. Я знаю, в бою это самое простое. Но это последнее средство протеста и сопротивления».* Это строки из обращения к близким и друзьям «левого бунтаря» – турецкого поэта Назыма Хикмета. В 1950 году, после двенадцати лет заключения, тяжело больной Хикмет объявляет голодовку в тюрьме.

Голодовка вызвала невиданный отклик в турецком обществе. Тысячи людей, независимо от их политических убеждений объединились с единственной целью – потребовать освобождения поэта. Вскоре к движению присоединились крупнейшие деятели мировой культуры – Луи Арагон, Поль Элюар, Пабло Неруда, Бертольд Брехт, Фредерик Жолио-Кюри, Пабло Пикассо, Жан-Поль Сартр, Жорж Амаду – многие международные организации, союзы писателей, партии и движения различных стран. Под влиянием мирового общественного мнения турецкое правительство вынуждено было объявить всеобщую амнистию и в июле 1950 года освободить Назыма Хикмета из тюрьмы. В августе того же года Всемирный совет мира (ВСМ) присудил ему Международную премию мира, а в ноябре избрал турецкого поэта членом президиума.

Хикмет хотел работать, писать стихи, воспитать Мемеда, единственного своего сына. Однако власти не оставляли его в покое. Слежка и давление на него продолжались. В 1951 году (Хикмету пятьдесят один) его призывают в армию, чтобы там расправиться с ним. Выбор был невелик: или смерть (понятно, что тяжело больной солдат не выдержал бы «службу» в армии), или бегство за рубеж.

В июне 1951 года Назым Хикмет решил покинуть страну. О его побеге из Турции написано много. Однако долгое время не были известны детали этого побега. Благодаря азербайджанскому ученому Джамилю Гасанлы были опубликованы архивные материалы, в том числе закрытые документы ЦК ВКП(б), проливающие свет и на побег Назыма из Турции, и на его жизнь в Советском Союзе.

В «Объяснительной записке», написанной в 1951 году после приезда в Москву, Хикмет подробно рассказывает о мотивах побега и о том, как он был осуществлен: *«Вскоре после моего выхода из тюрьмы я получил телеграмму от Всемирного Совета Мира. Телеграмма была подписана его председателем Ф.Жолио-Кюри, который приглашал меня на заседание Совета Мира в Англию... Спустя некоторое время я получил вторую телеграмму, в которой сообщалось, что Совет Мира состоится в Варшаве. Я знал, что не смогу поехать, так как турецкие власти не дадут мне паспорт... В турецких реакционных газетах началась кампания против меня. Газеты писали, что в Варшаве я был избран вторым вице-председателем Международного Совета Мира, что я платный агент русских, что русские опубликовали все мои произведения... Я, с согласия товарищей (по партии. – Т.М.), решил обратиться с просьбой о выдаче паспорта. Были выполнены все формальности. Прошло несколько дней, и меня вызвали в военкомат, где заявили, что я должен служить в армии. Я объяснил, что по состоянию здоровья освобожден от военной службы, что документы (о состоянии здоровья. – Т.М.) находятся в больнице. Я был подвергнут домашнему аресту. Из военкомата сообщили, что, если найдут документы, то мне выдадут паспорт... Учи-*

тывая, что я нахожусь под домашним арестом, партия решила, что мне необходимо нелегально выехать из Турции. Для того чтобы организовать мой побег, нужны были деньги. При посредничестве Сабихи Сертель я попросил Всемирный Совет Мира выдать ей половину денег, причитающихся мне как лауреату Международной премии мира, а вторую половину денег перевести в Швейцарский банк. Была возможность выйти через Босфор в Черное море и добраться до одной из стран народной демократии... Мы купили очень дорогую спортивную моторную лодку. 17 июня 1951 года я решил бежать. Часто меняя такси, я добрался до Босфора. Мой шурин (Рефик Эрдуран. – Т.М.) прибыл на моторной лодке в безлюдное место. Море было спокойным. Выйдя из Босфора (в Черное море – Т.М.) мы встретили пароход «Плеханов», и тогда я решил вместо того, чтобы плыть в Болгарию, остановить пароход в море, назвать свое имя и, если меня согласятся взять на пароход, попасть в Румынию. Я громко называл свое имя морякам, которые были на борту. Некоторые из моряков, зная мое имя, сказали капитану, кто я. Он телеграфировал в Констанцу, оттуда в Бухарест, спустя приблизительно полтора часа меня взяли на пароход, а мой шурин вернулся. На пароходе не было пассажиров, так как он был товарный. 18 июня я прибыл в Констанцу. Пришли работники госбезопасности, которые повели меня в одно из зданий в порту, где меня допросили. Через некоторое время пришел товарищ из партии и повел меня в обком. 19 июня я приехал в Бухарест. Для того чтобы решить свои вопросы, я хотел поехать в Москву».

Председатель Союза писателей СССР Александр Фадеев обратился в ЦК ВКП(б) с просьбой разрешить Союзу писателей пригласить Назыма Хикмета в СССР. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло положительное решение по письму Фадеева. Все вопросы по приему Хикмета были возложены на Союз писателей, М mosсовету было поручено в течение 15 дней обеспечить его трехчетырехкомнатной квартирой, а лечебным учреждениям Кремля – заняться его медицинским обслуживанием.

29 июня 1951 года Назым Хикмет прибыл в Москву. Как окажется – чтобы провести в этом городе остаток своей жизни. В аэропорту его очень тепло встретили Николай Тихонов, Константин Симонов и другие писатели. Примечательная деталь: в тот же день заместитель председателя внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) Борис Пономарев во всех подробностях информировал Сталина о церемонии встречи турецкого поэта.

На следующий день был организован банкет в честь Назыма Хикмета.

Как отмечает Дж.Гасанлы, «советское руководство очень хотело использовать Н.Хикмета против Турции, особенно же против ближневосточной политики США, но в то же время опасалось его». На то были свои причины. Хикмет был человеком с убеждениями, искренне верил в социалистические идеалы и всегда ставил их выше политических игр, резко реагировал, когда политические и партийные лидеры отходили от этих идеалов и принципов. По этой причине его исключали из Коммунистической партии Турции и вновь восстанавливали – партия нуждалась в такой фигуре.

В Москве Хикмет почувствовал и радость, и разочарование. Ему было приятно вернуться в город своей молодости, где происходило его становление как художника и гражданина, где остались много друзей и товарищей, с которыми он создавал «новое искусство». И, наконец, он приехал в страну, где, как ему казалось, «социалистические идеалы становятся реальностью». Живя в Москве, он никогда не считал себя иностранцем. Высказывался по всем важным социально-политическим вопросам, защищал молодых талантливых поэтов и художников, боролся с партийно-бюрократической системой. Евгений Евтушенко прекрасно охарактеризовал Хикмета: «Такие люди, как Назым, не бывают иностранцами ни в какой стране. Их сердце становится всемирным паспортом». И, конечно, такой человек не мог остаться безучастным к тому, что происходило в Советском Союзе. За 12 лет жизни в Москве Назым Хикмет трижды испытал политический, духовный и нравственный кризис.

Это были годы сталинского культа, всеобщей подозрительности, страха говорить правду, репрессий. Великий режиссер Всеволод Мейерхольд, которого богоуборил Назым, многие писатели, художники были уничтожены или репрессированы, Николай Экк – режиссер известного фильма «Путевка в жизнь», друг Хикмета, лишен возможности работать и, по существу, бомжует. Все это не могло не вызвать чувства глубокого разочарования.

Вскоре после приезда в Москву состоялась встреча Назыма Хикмета с театральными деятелями Москвы. В своем выступлении Хикмет сказал буквально следующее: *«Братя! Когда я сидел в одиночке, я выжил, может быть, только потому, что мне снились московские театры. Мне снились Мейерхольд, Маяковский... Это была сама революция улиц, перешедшая в революцию сцены. И что же я увидел теперь в московских театрах? Я увидел мелкобуржуазное, безвкусное искусство, почему-то именующее себя реализмом, да еще и социалистическим. А кроме того, я увидел столько подхалимства и на сцене, и вокруг нее... Разве подхалимство может быть революционным? На днях я должен встретиться с товарищем Сталиным, которого глубоко уважаю. Но я, как коммунист коммунисту, скажу ему прямо, что он должен распорядиться, чтобы убрали его бесчисленные портреты и статуи – это так вульгарно...»* Конечно, после подобных высказываний состояться встречи со Сталиным не могла.

В беседах с коллегами Назым называл Мейерхольда самым крупным режиссером XX века. Известный советский артист Аркадий Райкин отмечал: *«Через всю жизнь он пронес любовь к Мейерхольду. И выступая на наших худсоветах, не раз вспоминал сатирические спектакли Всеволода Эмильевича. В то время мало кто позволял себе говорить о Мейерхольде так открыто и свободно, как Хикмет».*

В 1955 году Генеральная прокуратура СССР приступила к рассмотрению вопроса о реабилитации Мейерхольда. Родственники и близкие великого режиссера обратились к деятелям культуры с просьбой написать свое мнение о нем. Назым Хикмет тут же откликнулся на эту просьбу. *«Не только история русского театра XX века, не только история советского театра, но и история мирового театра немыслима без Мейерхольда, – писал он. – То новое, что этот великий мастер внес в театральное искусство..., несмотря на невероятные преграды, живет и теперь в советском театре, в прогрессивном театре мира и будет жить».*

Вскоре В.Э.Мейерхольд был реабилитирован. Однако большинство режиссеров и критиков России продолжали игнорировать его заслуги, не желая замечать роль, которую сыграл великий художник-реформатор в истории современного театра. В своих выступлениях и статьях Назым Хикмет неоднократно призывал театральную общественность «бороться за настоящую реабилитацию Мейерхольда».

В своей книге «Записки ровесника века» Александр Вильямович Февральский (1901-1984), российский театроровед, искусствовед, критик приводит следующие слова Назыма Хикмета: *«Хочу немного полемизировать с большим режиссером Охлопковым. Я его очень люблю как человека и как художника. Он один из больших режиссеров всего мира. Моя полемика вот о чем. Он один из больших режиссеров всего мира. Моя полемика вот о чем. Он почему-то три-четыре раза говорил об ошибках Мейерхольда. Чтобы говорить о великом, не стоит говорить об ошибках. Кто не ошибался? Все большие люди ошибались, иначе не могли бы создать ни черта. Я лично если что-нибудь могу писать, прежде всего я обязан Мейерхольду. Для меня театр – это его понимание театра. Я не сектант, не ревизионист, не догматик, я не отрицаю других эстетик театра. Я люблю и Станиславского, Тайрова, Вахтангова, Брехта, Антуана. Человек может любить 15 жен (по-нашему), но 16-я в гареме главная. Для меня Мейерхольд – главное... Я хочу, чтобы вышли хорошие книги о методе Мейерхольда. Пора говорить об этом. Из газеты «Известия» меня просили написать о «Ревизоре» Акимова. Я «Ревизора» понимаю иначе – не как водевиль. Об этом я написал,*

и написал фразу, что для меня – лучше трактовка Малого театра и Мейерхольда. Есть замечательная традиция советской прессы – показывать авторам гранки. Но мне гранки не прислали и выкинули эту фразу. (Назым имел виду свою статью «Спектакли ленинградцев в Москве», опубликованную в «Известиях» 9 апреля 1959 года – Т.М.). Значит, люди, которым очень дорог Мейерхольд, должны много бороться за настоящую реабилитацию Мейерхольда».

В советское время автора подобной статьи в одной из главных газет страны не ожидало ничего хорошего.

Н.Хикмет неоднократно просит организовать встречу с Николаем Экком, высказывается о современных литературных и художественных течениях, которые были отвергнуты и заклеймены советской критикой, так что неудивительно, что с первых же дней приезда в Москву он оказывается в поле пристального внимания сотрудников госбезопасности. Обо всем, конечно, тут же доносили в ЦК. Каждый его шаг, каждое его слово фиксировались и докладывались высшему руководству страны.

Буквально две недели спустя после приезда Хикмета в Москву, заведующий первой (секретной) частью Особого отдела ЦК ВКП(б) А.Стручков направляет А.Н.Поскребышеву секретную записку, «разоблачающую» турецкого поэта. В ней отмечалось, что Назым Хикмет «принадлежит к самой высшей аристократии Турции и там воспитывался», что его дед Ферид Энвер-паша – генерал, его дядя Али Фуад-паша был послом Турции в Москве, его отец Хикмет-бей был редактором американофильской газеты «Новый Восток», что турецкая делегация на IV Конгрессе Коминтерна официально требовала исключить его из Университета трудящихся Востока, что еще в 1935 году его обвиняли в ренегатстве и т.д и т.п.

В 1951 году, сразу после приезда в СССР, Назым Хикмет участвовал в фестивале молодежи в Берлине. Во время этой поездки его всюду сопровождал секретный агент Ф.Адилов, который 27 августа представил председателю внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) В.Г.Григорьяну подробный отчет о деятельности Хикмета в Берлине. Ф.Адилов писал, что на фестиваль приехали девять турок, с которыми Хикмет часто встречался и беседовал («если я подходил во время его беседы с Хромым или девушкой Севим, он сразу же менял тему своего разговора, и чувствовалось, что речь его не вяжется и они ожидают моего ухода»), что он встречался с руководителями сирийской, израильской и французской делегаций, говорил с участниками фестиваля только по-французски... В сентябре-октябре Хикмет посетил Болгарию, он встречался с турецким населением страны, местной интеллигенцией и руководителями страны. Ф.Адилов сопровождал Назыма и в этой поездке.

В августе 1951 года по указанию советского руководства были подняты архивы Коминтерна, Министерства госбезопасности и собраны материалы, на основании которых В.Григорян составил обширную «Информационную записку о Н.Хикмете в 1925-1939 годах». Она была направлена Сталину. В справке отмечалось, что Хикмет был враждебно настроен против Ферди – генерального секретаря компартии Турции, в 1926 году на партконференции в Вене он был избран в ЦК, но никогда не находился на оргработе в партии, в 1933 году вместе с единомышленниками он хотел организовать новую компартию, защищал кемалистов, и «в 30-е годы он, Ведат Недим, Ахмед Джавад, Вала Нуреддин, Шевкет открыто перешли на их сторону». На основании донесений Ф.Адилова, составленной МГБ справки на Назыма Хикмета и других материалов, В.Григорян 15 января 1952 года «информировал» Сталина о «неправильном» поведении турецкого поэта в Советском Союзе, Берлине и Болгарии.

В своей книге «Волчий паспорт» известный поэт Евгений Евтушенко рассказал об одном случае, свидетелем которого он был: «В пятьдесят шестом году Назым пригласил художника Юрия Васильева и меня на пару дней в Переделкино. Это была его манера гостеприимства – отключить все телефоны и посвятить все время только одному или двум гостям. Целый день мы сидели на турецких подушечках и наша беседа

неспешно вилась, как дымок над турецким чайком в гнутых прозрачных стаканчиках, вставленных в серебряные подстаканники, и Юра Васильев так же неспешно распisyval с внутренней стороны дверь, а с ее другой стороны оставалась стремительно движущаяся история, непредсказуемая в своей жестокой поспешности.

Но история сама открыла снаружи эту дверь, слишком слабую для того, чтобы ею отгородиться от нее, истории. История ввалилась к нам в облике пожилого пьяного человека с блуждающими, такими же голубыми, как у Хикмета, глазами. Этот человек, не обращая никакого внимания на нас, смотрел только на Назыма, потом не выдержал, опустил взгляд, содрал с головы черную мокрую ушанку под котик с выдающими ее фальшивость фиолетовыми закраинами и вдруг бухнулся на колени:

– Прости меня Христа ради, Назым... Сними грех с души... Я тебе должен все рассказать...

Ушанка его плакала на пол фиолетовыми слезами.

Назым поднял его:

– Встань, брат... Не надо ничего говорить...

– Нет, я расскажу... расскажу... Сколько лет я в себе это таскаю – уже мочи нет...

Вошедший, захлебываясь собственными словами, рассказал мучившую его историю.

В 1951 году Назыму предоставили в полное распоряжение государственную машину с шофером. Вошедший человек и был тем самым шофером. Они подружились, и Назым однажды даже побывал у него в гостях.

В 1952 году шофера пригласили на Лубянку. Каково же было его потрясение, когда перед ним оказался сам Берия.

– Знаешь, кого ты возишь? – спросил Берия.

– Лауреата Премии Мира... великого поэта... турецкого коммуниста... друга Советского Союза... – недоуменно ответил шофер.

– Ты возишь не друга Советского Союза, а врага... – проциедил Берия. – Опытного, хитро замаскированного под революционера. Он хочет убить товарища Сталина. Но мы не можем арестовать его: он слишком знаменит, да к тому же турок... Ты должен помочь нам убрать его... Что стоит для хорошего профессионала-шофера сделать правдоподобную аварию! Одним шпионом будет меньше.

– Не верю... – сказал шофер. – Он мне как отец родной...

– У нас у всех только один отец, – мрачно сказал Берия.

На следующий день шофера вызвали опять на Лубянку, требовали согласия.

Шофера избивали, но он не соглашался. Тогда в кабинет ввели его жену, а затем несколько отпетых уголовников.

– Эти милые мальчики несколько лет не пробовали женского тела, – сказал следователь, красноречиво показывая глазами на них, а потом на жену шофера. Шофер все понял и согласился.

Несколько раз его предупреждали, что это должно произойти завтра, но в последний момент все почему-то отменялось. Затем умер Сталин, расстреляли Берию... У Назыма появилась своя личная машина – государственная стала не нужна. Шофер ушел работать в такси – лишь бы оказаться подальше от государства, чуть не сделавшего из него убийцу. Но вина перед Назымом мучила его, жгла, не давала покоя. Вот он и пришел покаяться.

Во время этого рассказа, от которого у меня шел мороз по коже, я смотрел не на шофера, а на Назыма. У него была выдержанка настоящего подпольщика. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Или он, быть может, догадывался об этом и раньше?

– Сними грех с души, Назым... – еще раз взмолился шофер.

– Нет на тебе греха, брат, – ответил Назым. – Давай лучше выпьем водки. Мне, правда, врачи запретили, но с хорошим человеком немножко можно... А ты честный человек, брат. Как твои дети, жена? Я ее хорошо помню. Она сделала такие вкусные

*вареники с вишней, когда я был у вас дома... Кстати, ты знаешь, что «вишня» – это турецкое слово?*

*Никто из нас этого не знал».*

Евгений Евтушенко ввел Васин рассказ в свой фильм «Похороны Сталина», в сцену ареста своего отца

Советская творческая интеллигенция и читатели с уважением и любовью относились к Назыму Хикмету. Его книги расходились большими тиражами, он стал заметной фигурой в культурной жизни страны. Одновременно он сталкивался с доведенным до абсурда культом Сталина и всеобщим страхом в обществе. И никак не мог понять, почему в стране, провозгласившей высокие идеалы, отсутствует свобода мысли и слова, стали нормой преследование и доносительство? Почему все проблемы общества решает всесильный административный аппарат? Почему полностью исчезли удивительная творческая атмосфера и многоголосие,ственные культурной жизни начала 20-х годов? Все это приводило его в отчаяние. Ведь не за это же он боролся всю свою сознательную жизнь и не за это 15 лет сидел в тюрьмах...

А тут еще тоска по родине, Стамбулу, по сыну Мемеду, который «взрослеет на фотографиях».

*В груди – словно горечь ветки, с которой  
сорвали плод,  
в глазах – дорога, ведущая вниз, к Золотому Рогу.  
Два клинка прямо в сердце мое вонзены –  
тоска по дому и по Стамбулу родному.  
Где силы найти – вытерпеть эту разлуку?*

Перевод С.Северцева

В 1953 году у Хикмета случился инфаркт миокарда. Врачи долго и упорно боролись за его жизнь. По словам одного из его лечащих врачей – Галины Григорьевны Колесниковой, «учитывая тогдашний уровень медицины, выздоровление Назыма было чудом». Он долгое время находился в реабилитационном центре в Барвихе. Врачи настрого запретили ему курить, пить спиртное, волноваться, рекомендовали вести спокойный образ жизни. В ответ на это Назым 21 апреля 1953 года в Барвихе пишет стихотворение, адресованное одному из врачей, лечивших его, – «Разговор с Лидией Ивановной»:

*Лидия Ивановна, мой умный друг,  
надо выполнять ваши приказы, знаю,  
иначе, как сказали вы,  
если я отобьюсь от рук,  
сердце лопнет, как граната ручная.  
Понимаю. Все это так.  
Но вы говорили, помнится,  
что радость и гнев  
вредней для меня, чем табак,  
вредней, чем бессонница...  
Но как не гневаться, когда вспоминаю,  
как бьется моя родная земля,  
от жажды и голода изнывая?  
Могу ли, мой кареглазый доктор,  
могу ли не тосковать,  
как подумаю, что, может быть, не увижу Мемеда,  
не увижу его терпеливую мать?*

Короче говоря, не сердитесь, мой друг.  
если сведу на нет  
ваш милосердный труд.  
Лидия Ивановна! Не надо угроз,  
все равно обещать я вам не могу,  
что буду жить,  
как важный, равнодушный утес  
на морском берегу.  
Оставьте, доктор.  
Ведь это – сердце.  
Слышите, как оно бьется?  
И если от гнева или от радости  
разорвется – пусть разорвется.

(Перевод М.Павловой)

После смерти Сталина у Назыма Хикмета появилась надежда, что страна освободится от наследия тоталитарного режима и демократические принципы вновь восторжествуют. Он решает своим писательским трудом ускорить этот процесс и пишет пьесу «А был ли Иван Иванович?». Ее герой – Петров, хороший рабочий парень, слесарь на заводе, в один прекрасный день становится начальником. Вначале ведет себя очень скромно, со всеми поддерживает хорошие отношения. Но со временем в нем просыпается второе «я», запрятанное глубоко в его сознании. Это второе «я» и есть тот самый Иван Иванович, который пробудил в нем тщеславие, любовь к лести, пренебрежительное отношение к окружающим. В учреждении «по требованию народа» появляются его огромные портреты, двойная дверь, обитая кожей и войлоком, чтобы «ни один звук не проникал из приемной в кабинет». Отныне Петров обедает в специально отведенном месте, плавает в «персональном бассейне», делает странные заявления, вроде «нельзя допускать в балете субъективизма и индивидуализма», и все эти его высказывания записываются и пропагандируются. Иван Ивановичу удается убедить Петрова в том, что его горячо любят весь город, что благодаря его «мудрой политике развивается, процветает и благоденствует область». Однажды его вызывает к себе вышестоящий руководитель, и Петров узнает в нем самого себя.

Завершив работу, Хикмет отдает один экземпляр рукописи Константину Симонову, тогдашнему главному редактору журнала «Новый мир», а другой – Валентину Плучеку, главному режиссеру московского Театра сатиры.

Константин Симонов, будучи хорошо знаком с нравами советской номенклатуры, предостерегал Назыма: «Мне кажется, что было бы очень хорошо сказать здесь в какой-то форме о том другом мире, мире капитализма, где язва этого второго «я» такого «Иван Ивановича» – язва закономерная, даже подразумевающаяся. Хорошо бы найти форму для того, чтобы сказать об особенной обидности и появления, и разрастания этих душевных лишаев в условиях социалистического общества, причем мне бы лично казалось очень важным сказать, что эти пережитки старого общества – а в своем корне, в своей основе это все-таки пережитки старого общества – по-доброму любым, самым вредоносным микробам стремятся приспособиться к новой, неизвестной для них окружающей среде, при этом деформируясь, изменяясь, обрасти новой мимикрией, выступая в новом обличье, но, в сущности, в корне своем, оставаясь все же микробами старого мира. Может быть, я выражаюсь дубово и упрощенно, но сущность этого вопроса мне кажется принципиально важной. Если у тебя ляжет к этому душа, я бы просил тебя над этим подумать».

Симонов просил подумать и над тем местом, где в пьесе вступает голос автора: «То, о чем ты говоришь там, страшно важно, но об этом, по-моему, либо не говорить, либо если говорить, то как-то весомее, сильнее. У тебя есть внутреннее право ска-

зать об этом сильнее, глубже – и о мотивах пьесы, и о своей любви к Петрову, и о своей ненависти Ивану Ивановичу».

Хикмет внес в пьесу незначительные изменения, и она была опубликована в 1956 году в 4-м номере журнала «Новый мир».

Пьеса вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Уже через месяц, 11 июня 1956 года, состоялось ее обсуждение в Институте философии АН СССР. По словам секретаря партбюро института Н.П.Васильева, написавшего после обсуждения рапорт в ЦК КПСС, Назым Хикмет высказал критические замечания о некоторых явлениях в общественной жизни страны, например, о разгуле партийно-бюрократической системы, о фактах чрезмерного неравенства. «Он говорил о том, как в Сочи видел санаторий, поделенный забором – по одну сторону в лучших условиях отдыхают «хозяева» – партийная бюрократия, чиновники, по другой – «простой народ»... Н.Хикмет говорил об употреблении слов «хозяин» в отношении руководящих товарищей и «простой народ» в отношении массы трудящихся, как о последствии культа личности. Он говорил также о том, что у некоторых высокооплачиваемых советских работников появились дурные нравы и вкусы».

В июле 1956 года сотрудники отдела культуры ЦК КПСС Б.Рюриков и В.Иванов подготовили справку о деятельности Хикмета, в которой отмечалось, что самой большой ошибкой пьесы «А был ли Иван Иванович?» является то, что «культ личности изображался здесь в известной степени как порождение общественного строя стран социалистического лагеря». «Хрущевская оттепель» уберегла Хикмета от репрессивных мер, но отношение властей к нему резко изменилось к худшему.

Предвидя возможные претензии со стороны критики, прессы и «общественности», Назым устами Иван Ивановича озвучил их в пьесе. И ввел «голос автора», отвечающий оппонентам, которым предстоит решать судьбу пьесы и спектакля.

**«Иван Иванович.** Эй, Назым Хикмет! Где вы там? Я знаю, Советский Союз – ваша вторая родина, вы любите советских людей, уважаете их, вы старый партиец – все это мы знаем. Но неужели ваша первая пьеса на советскую тему непременно должна быть сатирой? Титанический советский человек – это разве Петров или я? Зачем вы подрываете авторитет Петрова? И чего вы именно за нас взялись? Нам и так забот хватает. Оставьте нас в покое. Да, кроме того, неудобно как-то получается – как бы то ни было, вы здесь почти гость. Нехорошо злоупотреблять гостеприимством советских людей. Конечно, не принято гостей одергивать, но все это до поры до времени. Я хочу сказать: оставьте-ка эту пьесу, так будет лучше и для вас, и для нас, и для театра, где ее будут играть, если, конечно, такой найдется! Ну, а если уж обязательно хотите писать об этом, сделайте хоть хороший конец».

И Назым делает «хороший конец», добавляет в пьесу «голос автора:

**«Голос автора.** Зря стараетесь, Иван Иванович. Советский Союз действительно моя вторая родина, и я очень люблю советских людей. Поэтому-то я должен поступать, как поступает здесь каждый честный человек. Но, если я даже только гость в Советском Союзе, в этом самом прекрасном доме на земле, – все равно: раз я вижу, что в этом доме ползет змея, мой долг – раздавить ее (курсив наш. – Т.М.). Именно поэтому, что я ненавижу вас, Иван Иванович, и верю, что Петров найдет в себе силы избавиться от вас, я допишу эту пьесу. А конец будет не такой, как вам хочется...»

Хикмет прекрасно понимал, что, если пьесу поставят, неприятностей не избежать. Но Валентин Николаевич Плучек и актеры Театра сатиры, получив пьесу, начали увлеченно работать над спектаклем.

11 мая 1957 года в Театре сатиры состоялась премьера спектакля «А был ли Иван Иванович?». Успех был ошеломляющим. Вспоминая об этом, Валентин Плучек писал: «На Бронной стоит кордон конной милиции. Обычно мы говорим о ней в переносном смысле, а тут действительно был единственный возможный способ поддержки порядка «на подступах» к театру. Был успех. Как говорят в таких случаях,

*зрители на люстрах висели. Во время спектакля случалось, что зал аплодировал по пять минут подряд и действие прерывалось...»*

Несмотря на успех, после пяти премьерных показов спектакль был по указанию министра культуры СССР Екатерины Фурцевой запрещен. Глухачка вызвали «на ковер» к министру культуры, а директора театра А.Глекова – в ЦК партии. После визита в ЦК А.Глеков уволился из театра.

Вся история с запретом спектакля стала достоянием общественности только в 1994 году, когда «Литературная газета» опубликовала закрытые материалы из архива ЦК КПСС.

Во время премьеры пьесы Назым Хикмет находился в Варшаве. Узнав, что спектакль запрещен, по словам Галины Колесниковой, он пытался покончить жизнь самоубийством, приняв снотворное.

«Хрущевскую оттепель» Назым Хикмет встретил с энтузиазмом. Большие надежды возлагал на XX съезд партии. В архиве Г.Колесниковой мы обнаружили его письмо, адресованное Н.С.Хрущеву с просьбой дать ему приглашение на съезд. Приводим его, сохранив его стилистику и орфографию:

*«Уважаемый товарищ Хрущев! Я вступил в Коммунистическую партию Турции в 1924 году.*

*В Турции – моей Родине я был приговорен к 56 годам тюремного заключения, из них 17 лет сидел.*

*Я писатель. На Родине напечатано 15 моих книг. Мои произведения переведены на разные языки. В Советском Союзе и разных странах играют мои пьесы.*

*В настоящем я являюсь членом Бюро Всемирного Совета Мира. Я просил, чтобы мне дали пригласительный билет для присутствия на заседании XX съезда хотя бы на один день.*

*Как член Всемирного Совета Мира и как турецкий писатель, коммунист, я считаю своим долгом написать впечатления о съезде, но это мне не разрешили.*

*Я считаю, что товарищи, не дав мне пригласительного билета, хотя бы на один день, поступили неправильно.*

*Прошу Вас принять во внимание мою просьбу.*

*С товарищеским приветом,*

*Назым Хикмет».*

Хикмет не был приглашен на XX съезд. Но, несмотря на это, живо откликнулся на разоблачение культа личности Сталина. Обращаясь к коммунистам, он писал: «будь ты секретарь ЦК или рядовой, будь у власти иль в тюрьме закован» – ты должен жить по Ленину. В его образе Назым видел честного, принципиального коммуниста, отстаивающего высокие идеалы социализма.

*На ХХ съезд пришел товарищ Ленин,  
улыбнулся, постоял немного у дверей,  
до начала в зал вошел, уселся на ступени  
у трибуны, положил тетрадку на колени:  
даже не заметил статуи своей...*

*На ХХ съезд пришел товарищ Ленин.  
Над страною в небе предвесеннем  
собрались благодатные надежды,  
словно белые густые облака.*

(Перевод М.Павловой)

Вскоре «благодатные надежды» рассеялись как облака. Снова была разрушена мечта о справедливом, прекрасном мире, снова разочарование и сомнение мучают поэта, который «увлечься больше не в силах ложью, даже самой красивой».

Эти переживания находят выражение в стихотворении «Полночь. Последний автобус», написанном в 1957 году:

Полночь. Последний автобус.  
Кондуктор выдал билет.  
Меня дома не ждет  
    ни черная весть, ни званый обед.  
Меня ждет разлука.  
Я иду разлуке навстречу  
    без страха и без печали.  
Великая тьма подошла и встала со мной рядом.  
Меня теперь не обескуражит  
    предательство друга –  
нож, который он в спину всадит,  
    мне пожимая руку.  
И не в силах меня спровоцировать враг.  
Я прорубался сквозь заросли идолов.  
Как легко они падали наземь!  
Все, во что я когда-то верил,  
    я снова проверил на зуб...  
И теперь – как ни жалко это, –  
    я увлечься больше не в силах  
        ложью, даже самой красивой.  
И не пьянят меня больше слова,  
    ни мои слова, ни чужие.

(Перевод Р.Фиша)

Прав Евгений Евтушенко, когда пишет, что «трагедия коммунистов-идеалистов состояла в том, что когда их идея материализовалась в сталинском варианте, то она оказалась кровавой карикатурой мечты. Мечта была изнасилована циниками. Коммунизм стал убийцей коммунизма». Свидетельство тому и события, которые произошли с Назымом Хикметом в 1959 году.

8-14 октября 1959 года французская газета «Les lettres francaises» публикует статью Назыма Хикмета «Мейерхольд и современность». Буквально через два дня после публикации в французской прессе в газете «Известия» от 17 октября 1959г. появляется редакционная статья с красноречивым названием:

#### **«ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ. Реплика Назыму Хикмету**

В последнем номере парижской газеты «ЛеттраФрансез» опубликована пространная, занявшая целую газетную страницу статья Назыма Хикмета «Мейерхольд и современность». В ней, в частности, автор описывает историю о том, как редакция «Известий» будто бы расправилась с его рецензией на спектакль «Ревизор». Мы полностью воспроизводим это «обвинение» и выносим его на суд читателей.

«Недавно меня попросили написать отчет о «Ревизоре» Гоголя, которого показывал в Кремлевском театре Ленинградский театр комедии, руководимый Акимовым, человеком большого таланта. Я написал статью, где – у каждого свой вкус – я сказал, что мне очень нравятся обе манеры интерпретировать драму Гоголя, которые, – какое счастье! – я имел возможность видеть в Малом театре и в театре Мейерхольда. Я хотел сказать там с самого начала, что, несмотря на формальное различие, оба театра истолковывали внутреннее действие «Ревизора» как в известной мере статическое, а не как водевильно живое. Затем я хотел бы этим сопоставлением выразить, что для меня театр Мейерхольда был таким же классическим, как и Малый театр, что русский театр имеет традиционный вкус

(какие бы ни были между ними различия, Мейерхольд не существовал бы без Малого театра), и наконец, что имеется определенная последовательность, главная линия развития. И вовсе не случайно Мейерхольд так часто прибегал к опыту Ленского, талантливого актера и постановщика Малого театра.

К несчастью, вопреки замечательной традиции советской прессы – представлять автору право подписывать одобренные страницы – редакционная коллегия «Известий» поступила по-другому.

Была вычеркнута вся вышеупомянутая фраза, и есть все основания думать, что в этом виноват был не Малый театр, а Мейерхольд».

В архиве редакции сохранился оригинал рецензии Н.Хикмета на спектакль «Ревизор», которую он прислал весной этого года. Мы не обнаружили в ней размышлений автора о том, как Малый театр и театр Мейерхольда «истолковывали внутреннее действие «Ревизора». Нет в рецензии и «сопоставлений» двух этих театров, ни слова не сказано о «традиционном вкусе», об «определенной последовательности», о «главной линии развития» русского театра, как вовсе нет упоминаний и о том, что Мейерхольд часто прибегал к опыту Ленского.

В короткой, на сто строк, рецензии Н.Хикмета присланной им в «Известия», содержалось всего-навсего всего две фразы, которые мы ради установления истины полностью воспроизведим здесь:

**«Я видел «Ревизора» во многих театрах Советского Союза, на разных языках, в разных трактовках. Конечно, это дело вкуса, но я считаю наиболее удачными из всех виденных мною спектаклей два спектакля «Ревизора» – в Малом театре и в театре Мейерхольда».**

Вот и все. Что общего между тем, что написал Н.Хикмет в «Леттфрансез» и в «Известия»? Любой беспристрастный читатель, сопоставив эти две цитаты, легко обнаружит явные «передержки» автора.

Да, эти строки из рецензии действительно не были «одобрены» редакцией, но лишь потому, что сказанные скороговоркой, невпопад, не развернутые в четкую, ясную мысль, они не наталкивали читателей на какие-либо размышления.

Странно и другое. Назым Хикмет знал, что эти совершенно не определяющие смысл его рецензии строки опущены. После опубликования рецензии в «Известиях» прошло полгода. За это время автор не предъявлял редакции своих претензий. Он не делал никаких попыток, не высказывал ни малейшего желания развить и обосновать на страницах «Известий» мысли, изложенные им теперь в «Леттфрансез». Чего же после всего этого стоят его необоснованные и весьма запоздалые обиды? Право, не серьезно это!

Может быть, история этого малозначительного происшествия и не заслуживала внимания, если бы в статье «Мейерхольд и современность» не было совершенно неправильных, неестественных обвинений в адрес советской театральной общественности и советской прессы. Назым Хикмет пытается убедить французских читателей в том, что в СССР не только не читят Мейерхольда, но и что даже само имя этого мастера у нас находится под запретом. Вот ведь даже «Известия» выбрасывают упоминание о нем! Если бы сие утверждал человек, незнакомый с нашей театральной жизнью, с нашей печатью, можно было бы не обращать внимания на подобные выпады. Но писателю, живущему в СССР, пьесы которого ставятся на московских сценах, несомненно, хорошо известно, что наша театральная общественность не раз обсуждала творчество Мейерхольда, а театральная пресса публикует материалы о его наследии. За последнее время, например, в журнале «Театр» были напечатаны интересные записки Игоря Ильинского, в которых он рассказал о совместной работе с Мейерхольдом. В издательстве «Искусство» готовится к выпуску сборник статей Мейерхольда и материалов о нем. В альманахе «Москва театральная» публикуются воспоминания А.Гладкова о Мейерхольде.

Все это хорошо известно Н.Хикмету. Зачем же, спрашивается, наводить тень на плетень?

17 октября 1959 года становится черным днем в жизни выдающегося человека. Назым пишет в редакцию ответ на реплику «Известий», рассчитывая на его публикацию на страницах газеты:

Уважаемые товарищи!

В вашей газете 17 октября 1959 года напечатана статья «Тень на плетень /Реплика Назыму Хикмету».

Есть в советской печати непреложное правило: если тебя критикует та или иная газета, ты можешь защитить себя на страницах этой же газеты. Поэтому я уверен, что мой ответ на вашу реплику также будет опубликован полностью.

В вашей реплике говорится, что Назым Хикмет в своей статье в парижской газете «Леттруфрансез» якобы допустил «передержки» и «неправильные обвинения» в адрес «Известий» и даже всей советской прессы и советской театральной общественности. Так ли это? Давайте разберёмся.

1. «Леттруфрансез», опубликовавшая мою статью, о которой говорится в вашей реплике, является одной из самых передовых газет Франции. Эта газета – безоговорочный друг Советского Союза. Во главе неё стоит выдающийся писатель, член Центрального Комитета Французской Коммунистической партии, Лауреат Международной Ленинской премии Мира Луи Арагон.

2. Ваша газета просила меня написать рецензию о гастролях в Москве Ленинградского театра комедии. Я смотрел два спектакля этого театра. Один из них был «Ревизор». Исходя из этого, я в своей рецензии в сто строк, говоря о спектакле «Ревизор», между прочим, или, по вашему любезному выражению, «скороговоркой», заметил: «Конечно, это дело вкуса, но я считаю наиболее удачными из всех виденных мною спектаклей два спектакля «Ревизора» – в Малом театре и в театре Мейерхольда». Нет никакой разницы между этой фразой и той, которая передаёт её в газете «ЛеттруФрансез». В газете «ЛеттруФрансез» эта фраза излагается так: «У каждого свой вкус, мне очень нравятся обе манеры интерпретировать драму Гоголя, которые, – какое счастье! – я имел возможность видеть Малом театре и в театре Мейерхольда». Где же разница? Вы же утверждаете, что разница есть.

Очевидно, вы путаете две вещи. Статья в «ЛеттруФрансез» посвящена специально Мейерхольду и поскольку (опять-таки, по вашему выражению, она – «пространная» – после повторения этой фразы я разъясняю там, что именно я хотел этой фразой сказать. Вы же представляете дело так, будто бы я сообщил французским читателям, что эти мои разъяснения составляют часть вычеркнутого из моей рецензии в «Известиях» места.

3. Я очень часто выступаю в советской прессе и этим горжусь. И в вашей газете печатались мои статьи и стихотворения. Как и все советские газеты, «Известия» каждый раз, – за исключением последнего случая, – предоставляли мне право прочесть статью в гранках. Если же редакция вашей газеты хотела сократить хотя бы одну строку, она согласовывала это со мной. Из рецензии же, о которой идёт речь, редакция «Известий» без моего согласия и даже не поставив меня в известность, сняла приведённые выше слова о Мейерхольде и Малом театре.

4. Вы обвиняете меня, говоря, что я допустил «совершенно неправильные, неестественные обвинения в адрес советской театральной и советской прессы». Но откуда вы взяли, что сказать о какой-то определённой газете и о какой-то определённой редакции, что ими в какое-то определённое время, в каком-то определённом случае нарушены традиции советской печати, – означает сделать выпад против всей советской прессы и советской театральной общественности? Мне, прошу вас, это непонятно.

5. Вы пишете, что Назым Хикмет якобы пытается убедить французских читателей в том, что в СССР имя Мейерхольда находится под запретом. Где же в моей статье, опубликованной в «ЛеттруФрансез», вы нашли что-либо подобное?! Там нет и намёка

на это. Когда я писал, что редакционная коллегия «Известий» нарушила традиции советской прессы и что в этом виноват не Малый театр, а Мейерхольд, – это означало лишь то, что я позволил себе усомниться в симпатиях к Мейерхольду со стороны определённых членов редколлегии «Известий» в определённое время, – но отнюдь не утверждение, что имя Мейерхольда находится в Советской Союзе под запретом.

6. Я знаю: Коммунистическая Партия Советского Союза, Советское Правительство и советский народ чтят память Мейерхольда и по достоинству оценивают его заслуги. Я не знаю, зачем же и с чего бы это, на самом деле, я стал бы «наводить тень на плетень»?

7. Статью, опубликованную в «Леттфрансез», я написал для сборника воспоминаний о Мейерхольде, который скоро должен выйти в Москве. Во время 3-го Все-союзного съезда писателей я передал эту статью писателям-коммунистам, членам братских коммунистических партий, которые были гостями съезда, – с тем, чтобы они опубликовали её в своей печати. Некоторые из них напечатали эту статью раньше, другие – позже. В частности, «Леттфрансез» напечатала статью только 14 октября 1959 года. Потому-то статья и появилась через полгода после рецензии в «Известиях».

8. Я не обратился к вам сразу же после нарушения вами традиций советской печати. Вы не осведомились у меня об истинном положении вещей, прежде, чем печатать свою реплику.

Давайте же, товарищи, самокритиковать себя перед читателями честно и прямо, как подобает коммунистам: я – за то, что сразу не обратился к вам, вы – за то, что пусть в малом, – но всё же нарушили традиции советской печати.

9. Как любая советская газета, и «Известия» являются моей газетой, газетой коммуниста Назыма Хикмета. Нашему классовому врагу не удастся воспользоваться ни вашей репликой, ни моим ответом на неё, ни моим замечанием в адрес «Известий», содержащимся в статье, напечатанной в газете «Леттфрансез».

/ Назым Хикмет/ 18 октября 1959 года

Ответ Назыма Хикмета не был опубликован.

\*\*\*

Начиная с 1957 года меняется характер лирики Назыма Хикмета, она становится более приземленной. Радикально меняются и стилистика, звучание, тональность его произведений.

Усиливаются мотивы разлуки, смерти, одиночества, еще более жгучей становится тоска по Родине, по сыну, по Стамбулу:

Родина, родина,  
не осталось на мне даже шапки работы твоей,  
ни ботинок,  
носивших дороги твои.  
Твой последний пиджак из бурской материи  
износился давно на спине...  
Ты теперь у меня  
только в этих морщинах на лбу,  
в свежем шраме на сердце.  
Родина, родина.

(Перевод М.Павловой)

В эти годы Хикмет «пьет по глотку тоску», размышляет об одиночестве, которое «раньше себя присыпает смерть», о «самой трудной работе – привыкании к страсти, к стику в дверь в последний раз, к беспрерывному расставанию», о «листопаде своего поколения» и собственных похоронах...

В конце 50-х в творчестве Хикмета на первый план выходит любовная лирика. Все эти годы он тоскует по любимой женщине – Мюневвер-ханым:

Тебя в лицо не видал я сто лет  
сто лет – не вел с тобой бесед,  
сто лет – не встречал с тобой рассвет,  
сто лет – тебя рядом нет.  
Сто лет не впивал теплоту твою.  
Сто лет меня женщина ждет,  
    сто лет – в далеком краю;  
на ветке одной мы были как два плода,  
с ветки упали – если встретимся, то когда?  
Сто лет, как разлука назначена нам судьбой,  
    уходят года –  
сто лет в мерцающей тьме бегу за тобой.

(Перевод Е.Витковского)

В это время Назым влюбляется в молодую, красивую женщину – Веру Туялкову. В результате появляются замечательные стихи, посвященные женщине «с волосами цвета соломы». Лирический герой его становится более искренним, более человечным и – одновременно – более сложным и глубоким.

Если раньше поэт обращался к широким массам, возвещал грядущее, прекрасные дни, завоеванные в боях, то сейчас ведет тихую, доверительную беседу о нескончаемых, будничных земных делах, его стихи насыщены глубоко личным восприятием жизни. Новое качество поэзии Назыма Хикмета особенно отчетливо прослеживается в поэме «Солома волос».

Хикмет был убежден: лишь идя по непроторенной дороге, где нередки не только находки и открытия, но и неудачи, можно двигаться вперед:

«Мы признаем право экспериментировать за математиками, атомщиками, врачами... почему же не оставить этого права за художниками? В поэзии, как в любых других областях, эксперимент не всегда сразу дает прямой результат, но он готовит почву для будущих открытий». Итог своих поисков поэт подвел в мае 1963 года, за несколько дней до смерти: «Я хочу вместить содержание в такую форму, чтобы она подчеркивала содержание, но сама была бы не видна, как тонкий дамский чулок «паутинка», которая придает красивой женской ноге еще больше красоты, хотя сам и остается незамеченным... Это то, что я предпочитаю сегодня. Но завтра, конечно, я могу предпочесть «яркие» формы».

В одном из своих последних стихов Назым Хикмет писал:

Хочу быть словом, чтобы звать  
к справедливости, правде, красоте.  
Хочу быть словом, чтобы сказать  
о любви слово любви.

«Роль, которую сыграл Назым в истории, была ему предназначена. И он сыграл эту роль гениально», – написал о нем Евгений Евтушенко.

К сожалению, эта роль была слишком трагична.

Умер Назым Хикмет 3 июня 1963 года в Москве, в городе своей юности.

## **САЛАМ САРВАН**

### ***В отчаянии***

В пасмурную осеннюю погоду  
они столкнулись лицом к лицу.  
Не было поблизости фотографа,  
Чтобы снять их вдвоем.  
Не было ресторана с черными стеклами,  
В которых они могли бы отразиться.  
И солнце не светило в небе,  
Чтоб скрестились их тени тут внизу...

**Двое в отчаянии:**  
Зонт, распластанный на земле для сушки, и  
Дерево, вырванное с корнем.

### ***Выбор в сравнении***

Сомнение, длиною в жизнь:  
Не можешь отаться целиком  
Выбору в результате сравнения...

К примеру, если выбрал рубашку  
Среди пяти отложенных,  
Навсегда запечатлеется в твоем теле  
Запах оставленных в магазине четырех других.

И вот так во всём и всегда.  
Вот так осколки нашего сердца и чувств  
Рассыпаются повсюду.

### ***Матер-идеализм***

В один и тот же миг случилось  
Рождение одного и смерть другого.  
Близнецы.

### ***Понятие разлуки***

Остатки лишней ткани,  
Когда нам кроют платье по размеру.  
Состриженные ногти, отправленные в мусорное ведро...  
А еще  
Застрявшие в прибрежном песке капли,  
Когда волны бьются о берег.

## **Горизонтальность жизни**

Нет, это еще не решение остаться навсегда,  
Передумав уезжать.  
Это просто перевести собранный чемодан  
Из вертикального положения в горизонтальный.

## **Жалкий весенний вечер**

Пробка, всё замерло.  
На обочине женщина оперлась на метлу,  
Безмолвно кричит дорогим автомобилям:  
Ну и куда вы?  
Что стряслось, чего стоите?

Ровно горит свеча  
На праздничном столе во время Новруза...  
Отец нервыми руками колет детям орехи,  
Купленные в рассрочку.

Затем смотрит на линии  
Своих натруженных ладоней:  
Эти морщины от скорлупы орехов?

## **Ужасное стихотворение**

Медленно стекает кровь  
Среди морщин,  
А я ладонью отираю с лица пот.  
Та портниха вывела что-то  
Своей иглой на моем пальто:  
Читаю строку за строкой эти стежки.

Медленно стекает кровь,  
Медленно алеет восход...

Люди всё еще раскрывают пустые ладони к небу,  
С уст срывается мольба.  
Но ребенок держит цветок в ручонках,  
Протянутых в Богу.

Медленно выходит кровь...  
И этот одинокий бедолага,  
У которого нет ничего,  
В миг разлуки забирает с собой  
Одну только недокуренную сигарету.

Да, вот и конец:  
Сотвори меня, Творец.

## **Урок истории для старииков**

**Были времена – слезы считались символом свободы:  
Были времена – рабам не позволялось плакать.**

**Короче... да здравствуют души, которые мы погубили,  
Пролитую кровь не пригубили...  
О, салоны красоты нашего века,  
Какую прическу носила Жанна Д'Арк во время сражения?  
Можно было бы постирать рубаху Бейрея?**

**Гордые герои не ударили кулаком в грудь,  
Упав с коней, ударили лицом в грязь...  
Кисть Пикассо пришла в негодность,  
Из года в год прохаживаясь по зубам Фазлуллаха Наими.**

**Хочешь постигнуть мир – гляди на царственную поступь  
Хромого Теймура.**

**И не стремись к неге и ласке:  
Там, где пряник, там и кнут.**

**Небесные стены ломятся от земных стенаний,  
А земля – от отсеченных конечностей:  
Левый рукав Нила – правая рука Бабека.  
Клеопатра проливает слезы бурунов  
В отсеченный перешеек Людовика – Дарданеллы.**

**Этот не смиренный мир прекрасно сопровождает  
Пионерской трубой саз Деде Горгуда.**

**А где же сын мой Тураг... Он на горе,  
Настанет день, когда ступит оттуда  
Врагам на горе.  
Смысл сражений: похоронить своих сынов  
В захваченных землях врагов.**

**С кого спросить за справедливость?**

**Пред вратами какой смерти застыл стоймя  
Мужчина на седле коня?  
Кем был тот нагой, что грязными руками  
Прикрыл свои святые члены?**

**И что стало с листом фиги?  
Он обратился в вериги?**

### **Постановка вопроса**

**По сути вот как следует ставить вопрос:  
Знаешь ли, о чем говорит кровь,  
Брызнувшая на твой лоб из чужой раны?**

## **Дома, подпавшие под план**

Эти дома, что снесут через пару месяцев,  
Хотят попрощаться со старыми знакомыми:  
Через них протекают ливни,  
Чтобы пролиться в последний раз.  
Они хотят землетрясений,  
Чтоб попрощаться и расстаться,  
Мечтают напоследок проскрипеть с бурей  
Губами облупленных дверей.

Но пока никого на горизонте –  
Смотрят окнами вдаль  
Дома, подпавшие под план,  
Усевшись во дворе,  
Считают по весне деревья  
С распустившимися почками.

## **Окончания множественного числа**

В глазах архитектора  
Город, вобравший миллионы судеб,  
выглядит лишь как карта,  
а здание, где одни плачут, а другие болеют,  
лишь как чертеж...

К примеру, когда проводится акция по сдаче крови,  
Даем ли мы кровь отдельно взятому больному?  
Когда проводим субботник и сажаем лес,  
Даем ли костыль отдельно взятому инвалиду?  
Когда выступаем спонсором детскому саду,  
Утираем ли слезы отдельно взятому ребенку?..

Жаль, на фоне окончаний множественного числа  
Теряется портрет человека:  
По сути человек всегда один.

*Перевод Ниджата МАМЕДОВА*

---

## ЛЯМАН БАГИРОВА

### НОВЕЛЫ

#### ***Седьмой***

Вот уже несколько дней подряд лил, не переставая, теплый сильный дождь. «Лил» – это мягко сказано. Он падал мягкой серой стеной, обволакивал туманом, шуршал, изредка всхрапывая. В переводе с дождиного его бесконечные «хурч», «бруч-ч-ч», «бгу-у-ульк» и «мряч-ч-ч» должны были, наверно, означать следующее:

- Так!
- Вот так! Еще сильнее!
- Поддай водички! Хор-рошо!
- За-амеч-ч-чательно! А ну, как повторим!

И на землю обрушивалась новая стена дождя, будто валились серые бархатные декорации. Земля эту театральную постановку принимала на ура! Ворчала от удовольствия, чавкала, урчала, пила живительную влагу. Аплодировала потом яркими цветами и душистыми плодами. Земля – самый благодарный и памятливый зритель. Все помнит. И тот жаркий июльский день тоже...

...Авдан воткнул лопату рядом с яблоней и довольно хмыкнул. Почва была рыхлая, легкая, в меру влажная, для деревьев – как райское облако. Корни дышат вволю, и тепла, и света, и воды им достаточно. А все он – Авдан. С самого раннего утра землю мотыжит, разминает, удобряет, чтобы было яблоням как младенцу в колыбели – спокойно и счастливо.

Он еще раз окинул хозяйственным взглядом сад. Все в порядке. Если не подведет погода, то лето будет радовать свежими помидорами-огурцами, стручковой фасолью и малиной. Авдан невольно улыбнулся, из малинника плыл крепкий сладкий аромат – нагретые солнцем ягоды теснились на ветках. А осень подарит сочные груши, айву и яблоки – предмет особой гордости и заботы. Плоды от яблонь-семилеток, они не испортятся зимой и дотянут до следующей весны. Оплот и защита дома его – яблони-семилетки.

Авдан огладил серую кору и стряхнул капли воды с листьев. Солнце уже стояло высоко – не обожгло бы. «Как за ребенком малым хожу», – усмехнулся он и зашагал к дому.

«Так они и есть мои дети, – продолжал размышлять он, умываясь под рукомойником. – Посадил крохотными саженцами, от ветра, дождя накрывал, землю в руках разминал, поливал, удобрял, чтобы прижились поскорей, подрезал, от вредителей защищал, ни разу никому через плечо взглянуть не позволил, чтобы не слали ненароком, радовался, когда в рост двинулись – чем я им не отец?!»

Рукомойник в унисон с его мыслями звенел на все голоса, выбрасывал радостные серебряные брызги.

– Чай мне! – негромко крикнул Авдан в прохладную полутьму кухни и пошел к беседке. Жесткое махровое полотенце так и осталось на его плечах, вбиравая капли воды и утреннее солнце. Наползал еще один жаркий августовский полдень.

Из кухни бесшумно вышла жена, поставила перед ним стакан чая и блюдечко с вареным сахаром. Ни конфет, ни иных кондитерских изысков Авдан не признавал. Только вареный сахар с пряностями и орехами. И чай был заварен так, как он любил

– терпкий, с чабрецом и гвоздикой. Мужчина потянул носом душистый пар, сделал большой глоток и улыбнулся. Хорошо! Вот он, хозяин, сидит в своем саду, в своей беседке, увитой жимолостью, и каждая травинка здесь знакома ему, каждый комок земли полит его потом. Он знает эту землю на цвет и запах, он родился и вырос на ней, растирал ее комья в заскорузлых руках, и она становилась мягкой и податливой, словно женщина после ночи любви. На этой земле он ребенком учился ходить, не смело ковылял и падал на нее, и добрая, она не царапала, а приминалась под ним, как мягкое одеяло. И она же в свой черед расступится, обнимет и примет его, как приняла когда-то отца и мать, и других родственников. Вон они лежат рядом на сельском погосте, и ему будет там место в свой срок, в свой час. А сейчас он пьет свежезаваренный чай с любимым вареным сахаром и вспоминает...

Работать на земле его научил отец. Молчаливый, седой и сгорбленный человек, он мог бы показаться угрюмым, если бы не улыбка. Отец улыбался редко, словно смущаясь, но улыбка мягким светом озаряла его иссиня-смуглое лицо.

– Запомни, сынок, ты – седьмой! – шептал отец в мальчишеское ухо. – Авдан – значит седьмой. Семь – принесло нам удачу, семь – число счастья. И яблони в нашем саду – все семилетки. Плодоносят только через семь лет. Но зато как! Даже в царском дворце не сыщешь таких яблок! И дом наш стоит на семи опорах. И после тебя три брата и три сестры. С тобой – семь! И тебе эта цифра принесет счастье.

– Почему все семилетки? – спрашивал мальчик. – Почему семь опор? Почему – Авдан?

Но отец только коротко смеялся, словно всхрапывал, и теребил сына по кудрявой голове.

– Когда-нибудь расскажу, – улыбался он, поблескивая крепкими белыми зубами. – А теперь идем работать! Земля труды любит, и деревья варом надо замазать.

Отец учил Авдана заготавливать садовый вар, смешивал в прокопченном ведре канифоль, скипидар, старый баражий жир и пчелиный воск и ставил эту смесь на огонь. По саду разносился едкий пахучий дым, отец помешивал обугленной деревяшкой варево, наклонялся над ведром, не боясь дыма, и напоминал Авдану волшебника из восточных сказок. Только вместо длинного халата и чалмы на отце были выцветшие рабочие штаны и рубашка.

– У каждого дерева свой норов, – негромко говорил он, нанося тонким слоем остывший вар на спили веток. – Вроде все одинаковы, все семилетки, а глядишь – у одного плоды мельче, у другого кислее, а у третьего сладкие, но не такие сочные. Так и звери, и люди. У каждого особый характер, а ухаживать надо за всеми, не жалея сил. Упорством и любовью победишь все.

И правда! Отец возделывал сад с такой любовью, что Авдану казалось: он благодарит отца неслыханно.

Так и случилось. В начале сентября, в пору теплых сильных дождей, когда над землей еще царствовал южный, горячий ветер Нот, ветви деревьев как-то особенно поникли над землею. Отдали прощальный поклон своему работнику и хозяину. И покатились яблоки, как слезы. Весь сад был усыпан золотистыми плодами, и до самой зимы ветер разносил их грустный аромат....

– А почему я – Авдан? – тихо спросил 17-летний парень у матери. Он в одночасье стал главой большой семьи. – Отец так и не успел рассказать мне.

Мать – похудевшая, но прекрасная особой красотой печали, поправила темную косынку на волосах. Улыбнулась слабо.

– Это, сынок, еще задолго до твоего рождения было. Отец ведь на мне вдовцом женился. – Авдан удивленно поднял брови. – Да, времени много утекло, зачем прошлое ворошить. Мы не говорили вам.

Детей от первой жены у него не было. Хорошая была женщина, наша местная. Хозяйка замечательная. Все ее стряпню нахваливали. Но детей Бог ей не дал, и это ее мучило. Нашим ведь кумушкам пальца в рот не клади – во всех грехах женщина виновата: нет детей – порченая или больная, много детей – тоже плохо, мол, плодит, как крольчиха, а муж один кормилец, совсем его не жалеет.

Отец твой ее любил, защищал всегда, как мог. Но Бог решил по-своему. Отец горевал очень, но сразу после поминок сказал, что дом его без хозяйки пустовать не будет. И как минул положенный срок, заслал сватов ко мне. Я ведь уже перестарком была – мне 26 исполнилось. Мать моя плакала, говорила, что в таких годах только за вдовцов или, не дай Бог, разведенных идут. Саму-то ее в 18 просватали.

Вот поженились мы, пришла я в этот дом, снова затеплила очаг. И стали ждать Божьего благословения – детей. Но то ли первая жена так мечтала о детях, то ли не успела она жизнью насладиться, но только словно впечатала она свою невысказанную боль в стены дома и накрыла нас ею.

За шесть лет супружества я родила пятерых сыновей. Но что это были за годы!

Первенец наш умер, едва родившись. Второй и третий вообще родились мертвыми. Четвертый прожил только день. Мы и по врачам ходили, и к бабкам-ведуньям ходили – все только руками разводили. Говорили, что все в порядке, а отчего такая напасть – никто понять не может. Как заколдовали.

Мне бабки говорили, что девочку родить надо. Мол, девочки крепче, выживут. Но как назло, Бог посыпал одних мальчиков.

Мать перевела дух, поправила выбившиеся из-под косынки седые прядки.

Когда умер пятый – он родился восьмимесячным, совсем слабым, отец совсем покернел лицом, осунулся, но меня подбадривал. Я по селу пройти боялась, пальцем вслед указывать бы стали, мол, неродящая, никудышная. Отец меня ни на шаг от себя не отпускал, не то, что слова вслед, косо посмотреть не позволял.

Но после пятой неудачи к нам мои братья заявились. И родные, и двоюродные. Одиннадцать человек. Вечером. И сразу к отцу твоему. Мол, прокляты и дом твой, и семя твое, а мы свою сестру забираем обратно. Негоже ей в проклятом доме жить. Не благословляет Бог ваш союз. А причина в тебе. И первая жена ушла обездоленной, и вторую ты несчастьем накрываешь. И мне говорят:

– Собирайся, сестра, ни минуты ты в этом холодном доме больше не останешься.

Отец твой промолчал. А потом снял со стены ружье и стал против них. Один против одиннадцати. И отец сказал:

– Я по закону Божьему ее брал в жены. Не таясь, не воровски. Перед Богом и людьми, она моя жена, а я ее муж. И разлучит нас только смерть. Никуда она не пойдет от своего мужа и дома.

Тихо так сказал и вскинул ружье. И тишина настала мертвая. Только слышно, как ветер листьями играет. Осенью это было. И листья звенели, как железные, страшно так.

Братья мои не робкого десятка были. И одиннадцать их против одного. Но они примолкли, смотрят то на отца, то на меня. И чувствую – в эту минуту зауважали они его. Кулаки скимают, но близко не подходят.

А я ни жива, ни мертва в стену вжалась и стала такая же белая, как она. На конец один из братьев говорит:

– Ты, сестра, что скажешь?

– Никуда не пойду! – отвечаю и сама пугаюсь своего голоса. Словно птица какая-то прокричала, а не человек сказал.

Они постояли еще немного, потом самый старший махнул рукой, и они ушли.

У нас под навесом тахта стояла деревянная, покрытая старым ковром. Летом отец любил иногда вздремнуть на ней.

Когда все братья скрылись за воротами, мы с отцом как подкошенные рухнули на нее и просидели так до утра, несмотря на позднюю осень. Отец лицо свое в мои ладони спрятал и сидел так долго. А потом поднял голову и сказал:

– Все теперь будет хорошо.

И такое светлое у него лицо было, что я поверила в ту же секунду – достигли мы дна своего горя, выстояли и теперь будем подниматься вверх.

Так и случилось. Ровно через девять месяцев в последние дни августа родился ты. Все село на нас с опаской смотрело: кто с жалостью, кто со страхом, как на сумасшедших. Только когда убедились, что младенец родился живым, здоровым и очень крикливым, пришли поздравлять. И братья мои пришли, прощения просили и кланялись отцу. А когда спросили его об имени для ребенка, он громко сказал:

– Авдан. Седьмой! Через семь лет он родился, и пусть это число принесет ему и дому этому счастье.

А пока я тебя ждала, отец ни минутки не сидел без дела. Все что-то мастерил, землю вскапывал, удобрял, поливал, разминал, чтобы была легкой, как пух. И посадил саженцы яблонь-семилеток. Знал, что удачу они в дом принесут! Дом укрепил: к пяти опорам прибавил еще две. И все делал с улыбкой – сам мокрый от пота, черный от солнца, одни зубы белеют, а веселый. И зазеленел сад, и в доме один за другим появились дети.

«Упорством и любовью победишь все», – вспомнил Авдан отцовские слова, и у него сжалось горло. Мать – прекрасная, мудрая – опередила его всхлип:

– Теперь, сынок, ты – хозяин, – сказала она те единственны верные слова, которые спасают от безысходных мук и слез. И простые слова эти помогли справиться с утратой так, как не помогли бы сотни добрых утешений. «Земля труды любит», – говорил Авдану отец. «И ими лечит», – прибавил бы сейчас постаревший Авдан...

... Он допил чай и зашагал к дому. Сад благодарно шелестел ему вслед. Все выросли: и деревья, и братья, и сестры. У всех свои семьи и дети. И скоро они снова соберутся в доме старшего брата, за большим отцовским столом.

Первый раз в конце августа, в его, Авдана, день. И все еще жаркий воздух будет пахнуть спелой малиной, именинными пирогами и звенеть от детского смеха.

А потом второй раз в пору теплых сильных дождей, когда над землей еще царствует южный, горячий ветер Нот. И ветер будет разносить аромат золотистых яблок. Это будет непременно. Пока стоит дом о семи опорах, плодоносят яблони-семилетки, и жив он – Авдан, нареченный отцом Седьмым.

## Монолог

Не рассуждай, не хлопочи!..  
Безумство ищет, глупость судит;  
Дневные раны сном лечи,  
А завтра быть чему, то будет...  
Живя, умей все пережить:  
Печаль, и радость, и тревогу.  
Чего желать? О чём тужить?  
День пережит – и слава Богу!

Ф.Тютчев.

– Эй, погодите! Да, вы! Прохожий, в длинном черном плаще с капюшоном, я к вам обращаюсь! Не вертите головой по сторонам. Это я, старый уличный фонарь. Нет, не андерсеновский. Тот был моим пррапрадедом. В нем горела сальная свеча, а в моем – электричество. Вот и вся разница. В остальном мы похожи. Оба – старики.

Только историю моего прадеда поведал Андерсен, а я сам расскажу о себе. Подойдите ближе, не бойтесь. Мой свет мягкий, он не причинит вам боли. Выслушайте меня: ведь, ей-богу, грустно стоять всю жизнь на одном и том же месте и видеть один и тот же дом, краешек озера, два тополя и уголок неба. И все время думать и молчать. Молчать и думать.

Не усмехайтесь, я знаю, о чем вы подумали: выживший из ума старик. Но это не так, уверяю вас.

Вот, например, окна дома напротив. В каждом жизнь и в каждом свой свет: теплый, холодный, яркий, мерцающий. Я люблю окна с теплым светом. Поднимите голову, отчего вы все смотрите в землю, взгляните хоть иногда ввысь.

Видите, из окна на четвертом этаже льется теплый оранжевый свет? Там живет молодая семья. Недавно родился ребенок. Женщина укачивает его и включает торшер с оранжевым абажуром. Младенец кряхтит, теребит мать за волосы, а она смеется и целует его, а потом поет колыбельную. Я знаю ее наизусть и напел бы ее вам, но мой голос проржал за все эти годы, так же как тело. Даже слезы у меня ржавые и такие жгучие – они разъедают мне сердце.

Не уходите! Прошу! Станьте в мой свет, он уже не такой яркий, как прежде, но я разгляжу вас. Не отказывайте мне в просьбе, выслушайте меня, может, это моя первая и последняя исповедь. Кто знает, увидимся ли мы еще?.. Со старыми ржавыми фонарями не церемонятся. Что во времена Андерсена, что сейчас – отправляют на переплавку.

А на пятом этаже в комнате за бирюзовыми занавесками живет писатель. Правда, он себя так не называет: стесняется громких слов. Но я-то знаю, что он настоящий писатель, потому что не только пишет для людей, но и болеет за них душой. А такое, поверьте мне, встречается нечасто.

Могу ручаться, что вам неизвестно его имя. Ничего удивительного: все подлинное деликатно и робко, и не может оказаться в нужный час в нужном месте.

Однажды я увидел, как он что-то быстро писал на небольших листах бумаги и складывал их потом под бронзовую статуэтку балерины, чтобы не разлетелись.

Напишет несколько листов, сложит под статуэтку, подумает немного, вытащит, перечитает и порвет. И так продолжалось долго. Я забеспокоился. Такого никогда не было. Мне нравилось подглядывать за его работой: он начинал писать всегда с хмурым лицом, но, когда оканчивал, лицо его было светлым и умиротворенным. И я знал, что работа его удалась: после нее он всегда ужинал с большим аппетитом и весело играл с котом. А тут с ним случилось что-то странное. На столе горы исписанных клочков бумаги. И лицо его становилось все мрачнее. А потом он вышел на улицу, прислонился ко мне и заплакал. И я услышал голос его сердца. Он плакал о том, что не может написать рассказ, что он рассыпается у него на бумаге, как сухая луковая шелуха. И я знал, что он говорит правду.

Можно творить в мире, даже если в нем грохочут пушки и льется кровь. Это будут тяжелые книги и тяжелая музыка, но все же они могут быть. Но нельзя творить в мире, из которого по капле уходит любовь. Вот скажите мне, кто выдумал чудовищные слова «окружающая среда» и «человеческий фактор»? В них есть что-то безликое. Это не окружающая среда, а земля, которая нас вскормила и вода, которая нас вспоила. И не человеческий фактор, а люди, которые нас любили. А наш мир становится безлиkim, безобразным. Разве можно любить безликое? А то, что невозможно любить, легко отнять. Нельзя отнять маму и папу, потому что их любят, но можно отнять родителя № 1,2,3,4, потому что они безлики. Все, что делается сейчас – это, по большому счету, убийство любви, убийство привязанностей. Если нет любви, есть равнодушие. Есть равнодушие – есть безликость, есть безликость – нет ничего. Это как никакой свет. Вы видели когда-нибудь никакой свет? У него нет цвета, оттенка, мерцания. Он – просто свет, от которого страшно.

Я знал, что писатель думает об этом, и что только в сердце своем и памяти он еще находит силы. Но и они когда-нибудь иссякнут. А нынешняя жизнь ехидно склонится, не оставляя даже надежды на вдохновение.

Он плакал, старый писатель, любивший людей и понимавший, что ему нечего уже сказать им в этом безумном и злобном мире. И мне нечем было утешить его. Только плакать ржавыми слезами и сделать так, чтобы свет мой был еще мягче, а железное тело чуть теплее.

Вы улыбаетесь, вам не терпится уйти? Умоляю, подождите еще минутку. Я не задержу вас надолго. Куда вы все бежите, люди? Кто гонит вас? Посмотрите, какой свет струится из окон ваших домов.

Видите, третье окно на втором этаже? Из его штор вырывается разноцветный свет. В этой квартире живет молодая женщина. Она любит яркие цвета и веселую музыку, у нее в доме всегда много цветов и две певчие птицы в клетке. По утрам, когда электричество во мне отключают, и я засыпаю до вечера, то слышу, как они поют. Наверно так вы, люди, представляете себе рай. Только без клеток.

А вот еще...

Вы уходите? Почему вам так не терпится уйти в тьму? Даже мой неяркий свет вам тягостен. Но почему? Кто вы?..

КТО ВЫ?..

### **Зима. Душа.**

*Посвящается дорогой моей подруге Магдалине Гросс,  
подарившей мне зиму в своем городе.*

– Нет, нет, и еще раз нет! Это никуда не годится! Черт знает что! Черт!!!

Троекратное «ч», произнесенное с оттяжкой, словно пытались смачно сплюнуть прилипший к губе листок бумаги, плевком осело в душе репортера Бесчастного. Он соответствовал своей фамилии с точностью до 99 процентов. Худой, в потертых джинсах, неопределенного цвета рубашке. Когда-то она была клетчатой, а теперь напоминала картину с абстрактными разводами. Бесчастный представлял собой крепкую, уверенную и надежную...безнадежность!

Главный редактор литературного журнала «Отечество мое» медленно багровел. На толстой шее его проступили синие жилы и белесые капельки пота. Но даже симпатичное сочетание цветов не вдохновило Бесчастного. Он уныло глядел в пол. Редактор еще раз взглянул на него, как бы решая для себя: обрушить ли гнев, или проявить милосердие? Потом вспомнил, что великолдушие – удел сильных, и остановился на милосердии. Да и лень было вступать в распри с этим, по всей видимости, ослом!

– Пойми, Марик (настоящее имя Бесчастного было Марк, но все его называли Марик), ты ведь неплохой репортер! Какие статьи писал! Что с тобой? Я все понимаю, мамы не стало, светлая ей память, но у кого мамы вечные? Я сам полгода никакой был после родителей, но однако же взял себя в руки. А ты как сдулся! Марик, я же душой за тебя болею, пойми ты это, дурья твоя башка! Стал бы я возиться, если бы не было в тебе таланта. Что молчишь?!

Марик продолжал сверлить взглядом пол. В голове его грустно качнулась мысль: «Имя Марк означает «увядающий». То, что имя имело еще несколько значений, более оптимистичных, Бесчастный не вспомнил. Душа его стремилась к унынию, и в уме звучали только заунывные ноты.

Редактор что-то говорил, периодически багровея. Человеку, обладающему более пылким воображением, чем поникший Бесчастный, могло прийти на ум, что редактор переживает приливы и отливы неведомого ало го океана. Человек с пылким воображением мог даже развить эту мысль до багровых закатов над этим океаном и о бледных звездах, приходящих им на смену. Но воображение Бесчастного было сейчас вовсе не пылким, да к тому же под воркование редактора оно блуждало неизвестно где.

– Ты меня слышишь?! – голос редактора из мягко-высокого стал взвизгивающим.

Бесчастный с трудом оторвал взгляд от пола и вдруг неожиданно для себя произнес:

– Снег бы увидеть.

Голос его прозвучал сдавленно и сипло, словно каркнул вороненок.

– Марик, ты о чём? Ты здоров? Да что с тобой? – редактор залопотал так быстро и участливо, словно боялся, что его прервут. Голова его напоминала ало пылающий шар с редкими кустиками волос.

– Снег, – шепнул Марик, и в глазах его была такая тоска, что редактор встревожился не на шутку.

– Ты мне не нравишься. Плохо выглядишь, бледный, взгляд блуждающий. Иди-ка домой, репортаж подождет. Да, подожди, дурья твоя башка, такси надо вызывать, еще свалившись по дороге. Ой, горе мне с вами, работнички!

Последние слова были сказаны в никуда и относились, скорее всего, к старому лысому тополю за окном. Тополь грустно скрипел и был очень похож на Бесчастного.

– Не надо такси, – разлепил губы Марик, – хочу пройтись.

– Точно сам дойдешь?

Редактор, которого все за глаза называли почему-то Ведьмаком Горынычем вместо Вадима Игоревича, был вообще-то отцом-благодетелем для своих подчиненных. Несмотря на грозно-багровый вид и синие жилы на шее, сердце у него было мягкое, как воск, из которого, по его собственным словам, «всякая шушера-мушера могла лепить черт знает что!»

– Да. – Бесчастный испытывал только одно желание – вырваться из светлого кабинета редактора.

Весенний день был прелестен. Иное определение не подходило к этому хрупкому, словно таящая льдинка, голубому воздуху, черным влажным деревьям и жирным котам, деловито спешащим по своим весенним делам. Даже звезды, едва заметные в синеющем небе, были полны юного очарования. Жизнь скрыто бурлила во всем – в прянной податливой земле угадывались новые всходы, и на все голоса заливались птицы! Скоро, скоро расцветет палитра весны, брызнет всеми красками – аloy, синей, желтой, сиреневой, золотой и всепобеждающей зеленоj. Полетит земля сквозь голубой и прохладный звездный простор, восславит весну лиkующей песней обновления. Все, все будет!

Но именно в эти волшебные дни Бесчастному было тревожно. Будто какая-то тоска сжимала сердце и не отпускала до самого мая. Лишь когда погода устанавливалась и весна с полным правом, степенно и достойно готовилась уступить дорогу лету, ему становило спокойно, словно открывалось второе дыхание.

– Академик Павлов говорил, что натуры впечатлительные хуже всего переносят переходные времена года, – зазвучал со дна души родной скрипучий голос отца. Тот был биологом, труды физиолога Павлова были для него чуть ли не Священным Писанием. Душевная ранимость отпрыска немного волновала его, он пытался найти ей объяснение в статьях своего кумира и постоянно цитировал Павлова сыну. Легче от этого тому не становилось, но отец удовлетворенно отчеркивал ногтем понравив-

шуюся цитату и успокаивался. Раз уж Павлов что-то говорит по этому поводу, значит, так оно и есть, и беспокоиться не о чем. Пусть уж лучше будет ранимым, да отзывчивым, чем бесчувственным чурбаном.

А Марик больше всего любил зиму, любил за чистоту и скромность, за молчаливую приветливость, растворенную в пышных облаках, перламутровом тумане, плавущем над деревьями. В зиме было все надежно, понятно и светло, она наполняла душу уверенностью: все будет идти своим чередом, в свой срок, в свой час проснется от сна земля, сменит белые одежды на зеленые и пестрые, а потом уже медные и золотые. Но в суматошной, прыгучей, пахучей и разноголосой весне эта уверенность отчего-то исчезала, таяла, оставляя тревогу.

Дорога домой пролегала мимо старой котельной. Бедная, какой она стала ветхой! А они с отцом так любили глядеть на нее во время зимних прогулок! Господи, как давно это было...

Мать закутывала Марика, как капусту, оставляя только между шарфом и шапкой с капюшоном узенькую щелочку для глаз. Но даже в эту щелочку он видел звезды, висящие совсем низко, над крышей котельной и верхушками старых сосен, отчего казалось — и сосны, и котельная украшены новогодними игрушками.

— Смотри, сынок, запоминай, набирайся впечатлений, может, и пригодится тебе.

Отец вздохнул, сбивал носком ботинка снег с кустов, тот разлетался белым веером, и на душе у обоих становилось радостно.

— Берендеево царство, зима-красавица, — выдыхал отец, восхищенно оглядываясь. — Нигде такого нет! — и сжимал руку сына в варежке. Марик молчал, вбирал в себя зиму как счастье, и серо-зеленые глаза его жмурились от удовольствия.

А придя домой, отец довольно отфыркивался, наливал себе большую (как говорила мать — полоскательную) чашку чая, откусывал от горячей булки с маслом порядочный кусок и заботливо сооружал для сына такие же яства. А потом клал перед ним толстую ученическую тетрадь.

— Вот смотри, здесь будешь записывать свои впечатления. Пиши, как на душу ложат, искреннее слово дороже всего стоит.

И Марик писал. Вначале каракулями, потом детским старательным почерком. Потом... уже не писал, подростку не до описаний зимних красот, есть дела поважнее. Многое изменилось, многое, — только любовь к зиме так и жила, грела сердце ожиданием чуда.

В день, когда Марк окончил журналистский факультет, отец церемонно пожал ему руку, расцеловал в обе щеки и вручил потрепанную ученическую тетрадку.

— Возьми, пригодится, — ответил он на безмолвный вопрос сына.

Вот она лежит сейчас перед Марком, благоуханное дуновение прошлого, бережной родительской любви, маленький островок надежности в его путаной жизни, крошечная верная зима среди бурлящей тревожной весны. Уже не вернуться, но вспомнить, прикоснуться на мгновение:

«Воскресенье, 14 декабря. Мы гуляли с папой в 40 километрах от дома. Места лесные, все тропы нехоженые. Деревья стоят, словно окутанные кружевным пуховым платком. Их еще не схватил мороз, они не серебрятся инеем, но в таком жемчужном белом убранстве, словно задумались о чем-то торжественном. Тропинки совсем безлюдные, много бурелома, и часто на дороги выбегают рыжие веселые лисы. Они ничего не боятся, смотрят черными глазами и машут большими пушистыми хвостами с белым шариком на конце. Мы хотели сфотографировать одну рыжую плутовку, но она сразу убежала в лес. Как прекрасен мир зимой! Снег продолжает падать, а в небе горят звезды, и кажется, что белая земля летит сквозь них в сказку».

Марк читал эти строки, улыбаясь. Весна с ее тревогой стала отпускать. Он задернул белые занавески с узором из снежинок. Так было спокойнее. Он даже вспомнил, что отец сказал, прочтя эти строки из тетради:

— Могу поспорить, что сейчас вы проходите в школе Тургенева. Я прав?

Конечно, он был прав! Марк писал про кружевной снег и веселых лисиц под впечатлением «Записок охотника». Но под насмешливым взглядом отца десятилетний мальчик краснел и мямлил, что это он сам так написал, просто «он не виноват, что Тургенев тоже похоже пишет». Отец трепал его по голове и прятал улыбку в уголках губ.

Господи, как давно это было, как неизбытно-сладко и печально становилось сейчас на сердце. Белая красавица, зимушка, Берендеево царство, мир алмазный, волшебный, надежный – ты как укрытие, защита и опора. Прав Горыныч: плохо ему, Марку, которого все в редакции называли Мариком и это в 44 года! Так он сам давно потерял счет своим годам. О таких говорят: без определенного возраста. Бесприютный, беспристанный. Нет такого слова, знает это он, не гневайтесь понапрасну, филологи всех мастей! Только не всё, что правильно – верно. Не беспристанный он, а именно беспристанный. Без пристани, без опоры, без надежного укрытия. Без зимы.

Сирый. Уехать бы в вечную зиму, слушать безмолвие, подставлять ладони под летящий снег, а потом, озябнув, вернуться в теплый дом, пить чай и смотреть, смотреть, пока хватит сил, как танцуют снежинки в свете фонарей. Романтик до седых висков. Вот, оказывается, твой дом – ты сам, твоя душа в снежном сиянии и чистоте. С ними надежно, они не предадут, не обидят. Зима обнимет белоснежными мамиными руками, усмехнется россыпью отцовских улыбок, и отступит весенняя тревога, растворится сердце в радостном покое. И будет, все будет! Отступят горести и тревоги, рассыплются болезни, мир опомнится, и все пойдет своим чередом: зиму сменит весна, потом лето, осень, и снова зима-чаровница, праздник души! Все будет, как должно, в свой срок, в свой час.

– Ну?! Выспался?! Отдохнул? – Горыныч был участлив, и алый шар его головы светился как-то особенно заботливо. – По глазам вижу, что отдохнул. Выглядишь гораздо лучше. Вот что, Марик, – сразу посуркал тоном редактор, – ты бы приоделся как-нибудь. В конце месяца премию тебе выпишу, купи что-нибудь. Да и вообще, ты о жизни своей думать собираешься? Ладно, не мое это дело, хотя я вам всем как отец родной, и вы из меня веревки вьете! Но одеться надо. Да, и напиши в номер что-нибудь новое, бодрое, весеннее. Давай-давай, давай! Рубрика «О природе» пустая. Ну, сам знаешь, не мне тебя учить.

– Ведь, Вадим Игоревич, я о зиме напишу, – единственным духом выпалил Марк. И, подумав, прибавил: – Пожалуйста.

Горыныч стал медленно багроветь, набухать жилами и каплями пота. На языке его уже висело гневное: «Изdevаешься?! Сколько можно на мне ездить?!» Но, взглянув в ясные, словно промытые снеговой водой, глаза Бесчастного, осекся и прохрипел:

– Вот гад! Черт с тобой! Валяй о зиме! Знаю: не статья будет – песня!

И улыбнулся широкой щербатой улыбкой.

Что ж, зима. Белый улей распахнут.  
Тихим светом насыщена тьма.  
Слозаранок проснутся и ахнут,  
И помедлят и молвят: «Зима».  
Выльем чаю за наши писанья,  
За призвание весельчака.  
Рафинада всплынут очертанья.  
Так и тянет шепнуть: «До свиданья».  
Вечер долг, да жизнь коротка.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> С.М.Гандлевский – российский общественный деятель и правозащитник; поэт и прозаик, эссеист, переводчик. Лауреат премий «Антибукиер», Малая Букеровская, «Северная Пальмира», Аполлона Григорьева, «Поэт». Член жюри ряда литературных премий.

## **На побегушках**

Ангел бледный, легокрылый,  
К нам отпущенний на землю!  
Грез твоих я шепот милый  
Чутким слухом чутко внемлю.

**В.Брюсов**

Ангел сидел, свесив грязные ноги и опустив плечи. Это был обычный рождественский ангел – мелкий клерк в небесной канцелярии, привыкший исполнять обязанности еще и курьера. Чудеса доставлял! Так сказать, ангел на побегушках. В праздничные дни работы у него было особенно много, и он уставал безмерно.

Но сегодня, кажется, он перевыполнил свою норму. Шутка ли сказать – с самого утра мотался по серому зимнему небу. Холод собачий, а тут еще везде поспеть надо: этой в тяжелых родах помоги, этого ребенка от удушья спаси, родителям третьего жизня продли и от паралича убереги, этих помири, тех, наоборот, от неверного шага останови, чье-то начальническое сердце умилостивь, чтобы работники его премию к празднику получили и своих домочадцев обрадовали, бездомным и кошкам теплые подворотни укажи и сделай так, чтобы жильцы не только на них не ругались, но еще и подкормили бедолаг и теплые тряпки под них подстелили. И все это он – рождественский курьер, то есть ангел. К концу дня уже и крылья не держали, шагал босиком по грязным обледеневшим лужам.

Если бы можно было, чертыхнулся! Хорошенько дело – вся остальная ангельская братия будет вечером горячий нектар попивать и игрой на арфе баловаться, а он должен еще хитон свой стирать и крахмалить, подол-то совсем заляпался. У ангелов слуг нет – все самому приходится делать, как в армии. Хорошо еще, что ангелы не болеют, а то бы наверняка простыл. Да и хитон-то громадный, не по размеру, издали на платье-клеш похож. Стирки часа на два, не меньше. А потом еще сушить, утюжить...Полночи пройдет.

Пора домой, на 18-е облако. Там вроде как казарма для ангелов мелкого ранга. Тех, кто чином повыше, – тем, конечно, изолированное облако. Ну, это понятно.

А лететь не хочется. Кажется, так и просидел бы всю ночь на крыше пятиэтажки, смотрел, как тают в фиолетовых сумерках снежинки. Жаль, что пятиэтажек все меньше. Многоэтажки неуютные, веет с их крыш вселенным холодом, а пятиэтажки добрые – ни небо, ни землю не обидели, вроде как высоко, смотришь вниз – голова маленько плывет, а людей все же видно: ходят, разговаривают, суетятся, наряжаются на что-то. Не то, что с небоскребов, когда вообще ничего не углядишь.

Только холодновато. Ангел поежился, и крылья его покрылись гусиной кожей. Он хихикнул. Хорошо, что никто не видит гусиную кожу под перьями. А нос-то, нос! Повис унылой длинной сосулькой.

Господи, ну почему у всех его товарищей настоящая ангельская внешность – весь набор в комплекте: золотые кудри, голубые глаза, фарфоровая кожа, розовые губы, тонкие черты лица, а у него нос – Бог семерым нес, а ему одному достался! Глаза цвета жженой пробки, жидкые серые волосенки, запавший рот и бугристая кожа землистого цвета.

Господи, где же твоя справедливость?! Где моя ангельская внешность, позволь спросить?! Водопроводчик из ближайшего ЖЭУ и то краше, даром, что не просыхает уже неделю.

Кстати, о водопроводчике. Как пить дать, нажрался опять где-нибудь и дрыхнет дома. А какой дом – название одно! Один как перст живет, в доме захламлено, напакощено, нечисто. На пол ступить невозможно – липкая грязь к подошвам при-

стает. И холодно – треснутое окно драным паласом заткнуло. А толку с него – ветер гуляет, засохшие окурки по полу гоняет, словно кошка с мышкой играет. В кастрюлях вместо еды тоже окурки в какой-то мерзкой жиже плавают. Слава Богу, что хоть дом пока не спалил. Сколько раз ангел сигареты тлеющие гасил – одеяло почти все прожженное. А этому скотине хоть бы хны! А воздух – хоть святых выноси. Крепкий кислый запах сивухи и табака – в конюшне и то легче дышится. Но водопроводчик привык уже, из пушки не разбудишь.

А если в подсобке уснул? Ангел задумался. Дома хоть какая-никакая кровать. Или диван? Да Бог с ним, хоть что-то. Продавленное, колченое, но ложе! И одеялом накрылся, наверно. А в подсобке цементный пол, и из текстиля – только про-масленная тряпка и старый свитер, намотанный на швабру.

«Не полечу! Да ну его к лешему! Я тоже не железный. В конце концов должен человек хоть какие-то мозги иметь. Его Бог по образу и подобию сотворил, вот пусть хоть разок вспомнит о Нем. Мне домой надо, ноги помыть и еще хитон стирать. Завтра опять целый день по небу мотаться с поручениями. Не полечу!»

Ангел решительно расправил крылья. До 18-го облака было сорок минут лёту. Он взмыл в небо, которое из фиолетово-сумеречного стало свинцовым, покружился немного над пятиэтажкой, чтобы размяться, и... круто развернувшись, полетел к подсобке. Летел и ругал себя: «Тебе что, больше всех надо? Смотри, какой праведник выискался, в серафимы метишь! Ты хоть в архангелы сначала выбейся, а то так и будешь мотаться на побегушках. Ага, медалей тебе навешают за героизм. Лети домой!»

Крылья упорно несли его к подсобке. Он подлетел и всмотрелся в замызганное окошко. Так и есть: спит бедолага на цементном полу. Ангел, не взломав окна, опустился рядом с храпящим и что-то бормочущим во сне существом. Оно было облачено в джинсы неопределенного цвета и клетчатую байковую рубашку. От вони несло запахом спирта и немытого тела, а от пола – могильным холодом. Ангел огляделся по сторонам. Нигде не было и намека на ткань. Не стелить же в самом деле на пол свитер со швабры и промасленную тряпку. Да и на кой они для водопроводчиковой туши? Он еще раз огляделся и...эх, была не была!

– Сволочь! Скотина неблагодарная! – чертыхался ангел, стаскивая с себя хитон.  
– Нет, только посмотрите, что он вынуждает меня делать! Вот как мне голым домой лететь?

Голый ангел являл собой зрелище еще более уставшее и унылое, чем одетый. Худой, с выпирающими костями, он ползал вокруг спящего и пытался перетащить его на расстеленный хитон. Наконец, это ему удалось. Водопроводчик только чмокнул губами, засопел и перевернулся на другой бок. Ангел укрыл его полами хитона и невольно залюбовался на свою работу. Спит пьяница как спелёнатый младенец в колыбельке и улыбается непонятно чему. Видно, видит во сне что-то хорошее. Тепло ему. Ангел это точно знал.

Он осторожно выбрался наружу и задрожал от холода. Валил снег, укутывал собою крыши домов, деревья, мосты, памятники, человеческое горе, страдание, тревоги. Накрывал покоем и безмолвием. Белый – цвет тишины.

«Хорошо, хоть ночь сейчас, – подумал ангел. – Никто не увидит».

Он парил над тихою землею, в холодном свинцовом небе. Где-то высоко горели голубые звезды, и свет их был ласковым, но таким слабым, что ангел летел почти во тьме. И только догадывался, что до 18-го облака осталось не так много. Мимо с нежным свистом проносились минуты, часы, столетия – ангел давно привык, что у Вечности только одна мера – мгновение.

На 18-м облаке все уже спали. Ангел ощупью нашел свою кровать и с наслаждением растянулся под одеялом.

«А ноги-то я так и не помыл», – промелькнуло в засыпающем мозгу. И сразу эта мысль сменилась утешительной: «А, ладно, завтра».

Назавтра проспавшийся водопроводчик с пеной у рта доказывал своим друзьям, что не иначе как Провидение Божье вмешалось, потому как он проспал с девяти вечера до самого утра на цементном полу подсобки ничем не укрытый, а у него не то, что почки, печень, суставы и всякая дребедень не болит, а даже задрипанного насморка нет.

— Хотя, — глубокомысленно заявлял он, подняв кривой указательный палец, — это все хенетика. Папаша мой тоже не дурак был заложить за воротник, а никакая хворь его не брала. До 87 лет прожил старик!

Друзья понимающие кивали головами. Против хенетики кто ж спорит??!

Ангел, как обычно, спешил по делам. Вместо хитона он завернулся в простыню — на первое время сойдет. Потом что-нибудь придумает! На складе вроде должны быть запасные на крайний случай.

Времени у него было в обрез. Поэтому он чуть-чуть покружился над тесным двором подсобки, послушал хвастилые излияния водопроводчика и улыбнулся: всегда приятно сделать что-нибудь хорошее.

Улыбка его растворилась в воздухе, и только маленькая птица с красным холком заметила ее. Она беспокойно завертелась на ветке и стряхнула с нее комок снега. Он мягко спланировал прямо на голову водопроводчику, но тот, увлеченный рассказом о вчерашнем сне, ничего не почувствовал.

Ангел полетел дальше. Дел у него было много.

## **Пристанище**

Страх перед белым листом бумаги. Ужас неизведанного. Откуда? Почему? Ей ли, собаку съевшей в журнально-газетном деле, жаловаться? А нет, всякий раз, как на экзамене, замирает сердце, подкашиваются ноги. Хотя с чего бы им подкашивать? Ведь удобно сидит за столом, пишет новый текст. В очередной газетный номер, как говорили встарь.

Итак-с, посмотрим, полюбопытствуем! Все честь по части: большой, еще прабабушкин стол, покрытый зеленым сукном. Старый и слегка облезлый, но удобный, родной и привычный. Каждая щербинка знакома. За ним пррабушка переводила французских поэтов, мечтательно теребя камею на платье, потом бабушка писала окислительно-восстановительные реакции, отец грыз гранит науки, потом они с братом корпели над уроками. Верный деревянный друг под зеленым сукном. Действительно, лучше не скажешь:

*Мой письменный верный стол!  
Спасибо за то, что шел  
Со мною по всем путям.  
Меня охранял — как шрам.*

*Мой письменный выручный мул!  
Спасибо, что ног не гнул  
Под ношней, поклажу грез —  
Спасибо — что нес и нес.*

Она улыбнулась. А все-таки дивная вещь — ассоциации. Из безмолвия вдруг сплетается тоненькая нить мыслей, звуков, запахов. Еще минуту назад она сидела, тупо вперившись в белый лист бумаги. Так и не смогла приучить себя сразу работать на компе. Он сиротливо поблескивал закрытой крышкой в дальнем углу комнаты.

Нет! Вначале — бумага. Белая дверь в волшебный сезам слов. Откройся, сезам, придите слова! Легкие, единственno верные, мгновенно падающие в сердце.

Только их она потом перенесет на экран компьютера с густо исписанного листа. Но ведь минуту назад никаких слов не было, не было ни-че-го! А вот стоило взглянуть на стол, как в памяти всплыли не только поколения, сидевшие за ним, но и стихи, знакомые с детства. И голоса, лелеющие душу...

– Сиди ровно, детка. Девочка должна быть стройной.

Это – мама с ее ровным, мелодичным голосом и золотой косой, обвернутой вокруг головы.

– Ну, ма-а-ам! – протяжное «а-а-а» выражает всю степень негодования. Слово «должна» и одиннадцать лет плохо сочетаются!

– Держи спину, – голос мамы ровный и осанка безупречна. – Всегда держи спину.

Мама скрывается в проеме двери. Из него бьет золотой закатный свет, и кажется, что мама растворилась в сиянии.

А спину и вправду держать научилась. Королевская осанка, золотое сияние – мама...

– Учись хорошо. Работай над собой. Знания – единственное богатство, которое у тебя никто не отнимет. – Голос бабушки непререкаем. Она едва поднимает голову от листка с окислительно-восстановительными реакциями. Взгляд ее суров, как хлорная кислота – самая сильная в природе! А руки – шершавые, попорченные реактивами, породистые руки с длинными пальцами – мягки, как цезий – самый мягкий металл на земле! Этими руками она невесомо дотрагивается до головы внучки, уравновешивая суровость взгляда и закрепляя его:

– Учись хорошо! Всегда найдется то, чему можно поучиться! – Через десятилетия будет доноситься бабушкин голос и золотом оплавляться на дне души. Единственная в мире окислительно-невосстановительная реакция – золото памяти окисляется сердечной болью.

«*La pensée doit être gracieuse*» – «мысль должна быть изящной» – выступает из тьмы облик прабабушки. Её она не застала, лишь слышала о ней. Но материализовался закрепленный в семейных преданиях образ: «в кольцах узкая рука», шуршащее платье, брошка-камея у горла, сосредоточенный и нежный профиль. И аромат духов – волшебный, летящий, растворенный в обивке стола. Прабабушка переводит Теофилия Готье, восторгаясь изяществом его стихов. Но! *La pensée doit être gracieuse* – мысль должна быть милостивой. У французского «*gracieuse*» есть еще и это значение. Возможно, оно более верное. Мысль и слово должны быть милостивыми.

– Всегда выбирай оптимальный путь решения, – голос отца-математика плотен, зрям и нависает, как гора. – Не трать время на сложные пути, они малоэффективны. Даже в математике существуют задачи на упрощение примеров, а не на усложнение. Что уж говорить о жизни. Но знай: оптимальный путь – не всегда кратчайший, по прямой!

Голос отца глохнет в зеленом сукне стола. Да, папа, все верно. Прямая – обманет, упрет в стену. Кривая пропетляет, но вывезет, не предаст. И подведет к тому, что тебе действительно нужно, чего ты достоин. Взвесит на весах вечности и определит положенную меру.

А это что? Хулиганский и милый голос выводит под Вертинского:

– Ах, мадам, вас соткали из пены  
И тончайших лучей самых дальних светил.

Дядя... Огнеглазый, веселый, всегда выслушивающий чьи-то патетические речи. «Снижаем градус пафоса», – говорил он.

– Настоящий авантюрист! – отзывался о нем отец, почему-то тоскливо вздыхая.

А тот хохотал, вился бесом и вносил в жизнь дурашливую милую сумасшедшую шинку...

«В жизни не должно быть скучно, племяшка, – смеется он, сидя на столе. – От скуки до жестокости всего один шаг. Жизнь – это вам не просто так!» – добавляет он важным менторским тоном. И вновь рассыпается хохотом: «Жизнь надо любить!»

И смех его звенит в стеклянных бирюльках настольной лампы – «люб», «люб», «люб». И отзывается эхом в ее сердце.

Но что это? Лист бумаги, который недавно внушал ужас, исписан тонкими строчками. Осталось только перенести их на компьютер, из безмолвия родился рассказ, из небытия соткались полные нежности и печали фразы. Хотя, отчего из небытия? Разве не любовь диктовала их? Та самая, что пребудет вовеки, когда «и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».

А все он! Старый крепкий стол, обитый зеленым сукном. Ее опора и поддержка, защита и вдохновение. И пристанище.

Так будь же благословен –  
Лбом, локтем, узлом колен,  
Испытанный, – как пила,  
В грудь въевшийся – край стола!

*В рассказе использованы: строчка из 1-го Послания апостола Павла к Коринфянам; стихотворение М. Цветаевой «Мой письменный верный стол» и строчка из романа В. Степанцова.*

## **Изумруд**

На улице Зевина в Баку был когда-то ювелирный магазин. Я любила захаживать в него, по дороге из института домой. Продавец, словоохотливый старичок с маленькими острыми глазами, любил рассказывать о свойствах камней. Причем от собственного рассказа получал, кажется, больше удовольствия, чем от продажи украшений.

– Вот это, – оглаживал он овальные матовые бусины, – настоящий опал. Не какая-то пластмасса, которую вам всунут в переходе метро, а настоящий, благородный камень. Возьмите бусы в руки! Чувствуете его тяжесть и прохладу? А прожилки? Посмотрите на свет, они словно выступают из молочного тумана. И заметьте, ни одной одинаковой бусины! Вот в этой – молочно-голубоватый туман, в той – розовый, а эта с персиковым оттенком. И прожилки в каждой тоже определенного цвета. В голубом тумане, например, бронзовые, даже чуть ржавого оттенка, цвета грузинских фресок – бирюза и бронза. А в розовом – прожилки серые, почти черные. Ну, разве это не японская гравюра? А вы какого знака зодиака?

– Лев.

– Тогда положите на место. Немедленно! Опалы подходят только людям, рожденным под знаком Весов. Другим они не принесут счастья. Вам нужны хризолиты. Камень зелени и солнца. Только у меня их сейчас нет, заходите на следующей неделе, подберем серьги. Не спорьте! Только серьги с хризолитом, они оттенят ваши глаза и принесут удачу.

Я и не спорила, трудно было даже вставить слово в этот вдохновенный монолог. Старичок явно ждал от меня одобрения.

– Спасибо. Да, я очень люблю солнечно-зеленый цвет. Хризолиты и... изумруды тоже.

Зря я сказала про изумруды! На меня обрушилась новая вдохновенная лекция минут на пятнадцать! Из нее я узнала, что изумруд был любимым камнем царя Соломона, что о нем писал Куприн, что от изумрудов слепнут змеи, что он врачует сердце и мозг, что от одного созерцания его – душа наполняется радостью, чистотой и весельем, что больше всего подходит людям, рожденным в мае.

– Только работать с ним очень трудно, – добавил продавец. – Очень хрупкий. Одно неверное движение, и все – камень испорчен. Очень хрупкий. Оттого и украшения с ним самые дорогие. Не камень, а словно человек. Очень ранимый.

Он замолк и задумчиво поглядел в окно, в которое билась, неистовствовала весна. Изумрудно-зеленый май – последняя пристань свежести перед испепеляющим бакинским летом.

Этот давнишний разговор я вспомнила, когда собралась писать о другом самородке.

#### Изумруде русского романа – **Валерии Агафонове.**

Валерия Агафонова не зря называют рыцарем русского романа. Именно рыцарственность, предельно бережное, благоговейное отношение были присущи его исполнению. По сути он возродил искусство романа, вернув ему исконные задушевность, кротость и самое главное – исповедальность. Романс – искусство прежде всего исповедальное, от сердца к сердцу.

Он прожил всего 43 года. В доме на любимой Моховой улице в Ленинграде. Там он родился, там и умер. Сейчас на этом доме памятная доска. Даже когда ему предлагали сменить коммуналку на более комфортную квартиру в другом районе, он не соглашался. Не мог представить себе, как сможет обходиться без дома и двора, где ему были знакомы каждый уголок, каждая щербинка.

Он родился 10 марта 1941 года. Пережил блокаду. От недостатка питания был очень слаб, ходить начал только в 3 года. Тогда же появилась сердечная недостаточность. Отец его погиб на фронте. С мамой и сестрой Валерий остался в огромной коммунальной квартире.

Из-за болезни он много пропускал уроков и вынужден был бросить школу. Начал петь. Но без аттестата зрелости не мог поступить ни в какое учебное заведение. Зато мог сесть в сквере на скамейку и петь под гитару. Вокруг сразу же собирались огромная толпа слушателей. А пел он чудесно, очень проникновенно:

*Капризная, упрямая, вы сотканы из роз.  
Я старше вас, дитя мое, стыжусь своих я слез.  
Капризная, упрямая, о, как я вас люблю!  
Последняя весна моя, я об одном молю:  
Уйдите, уйдите, уйдите!*

*Вы светлая, с лучистою улыбкой на устах.  
И если правда чистая хранится в тех словах,  
Отброшу все сомнения, прощу каприз я вам  
И жизнь мою осеннюю, как ладанку, отdam, –  
Возьмите, возьмите, возьмите!*

Валерий Агафонов окончил ремесленное училище, работал фрезеровщиком, но врачи запретили ему заниматься физическим трудом.

В поисках заработка он был подсобным рабочим в цирке, электромонтером в Академии художеств им. И.Е.Репина. И сам, кстати, тоже отлично рисовал. Постоянно посещал художественные выставки, концерты. Писал стихи, сочинял музыку, был прекрасным чтецом и рассказчиком. Именно тогда в годы своеобразного ученичества стала вырабатываться его неповторимая исповедальная манера исполнения.

Как заметил один из друзей Агафонова уже после его смерти: «Романс – по-жалуй, единственный жанр музыкального искусства, где голос вторичен. Важны только предельная искренность, душевность. Только навстречу ей откроется сердце».

Валерий дружил с многими бардами, в том числе и Владимиром Высоцким. Пению и игре на гитаре его никто не учил. Он самостоятельно достиг профессионального мастерства. И не случайно фирма «Мелодия» выпустила целых шесть его пластинок.

Достаточно только послушать, как он исполняет знаменитый романс «Москва златоглавая», чтобы почувствовать невероятную интеллигентность и глубину исполнения, совершенно отличную от исполнения ансамбля «Русская песня».

Пластинки Агафонова выходили и в Швеции, и в Финляндии, но сам он не получал с этого ни копейки. У него не было никаких конфликтов с властью, но в их отношениях соблюдался некий нейтралитет, власть его будто не замечала. За всю жизнь он один раз выступил по телевидению, и один раз ему уделили 20 минут радиоэфира. В основном его выступления проходили в красных уголках ЖЭУ, на предприятиях. А он мечтал о большой сцене.

Мечта сбылась, но до того, как он стал вокалистом Ленконцерта, ему пришлось поработать в ночном баре гостиницы «Астория».

Известно, что он пел самому Шарлю де Голлю, президенту Франции. В гостинице ему запихивали в гитару валюту, а он потом ее всю отдавал сотрудникам соответствующих органов.

Потом он стал вокалистом концертной бригады «Интуриста», актером драмтеатра в Вильнюсе, солистом ленинградского цыганского ансамбля. Во время работы в этом ансамбле произошел забавный случай. Валерию сказали, что фамилия Агафонов не годится! «Будешь венгерским цыганом по фамилии Ковач», – решил руководитель ансамбля.

Валерию покрасили волосы в черный цвет, а когда он спал, ювелир Андрей Абрамичев впаял ему в ухо золотую серьгу.

Выступления молодого солиста проходили с большим успехом. Но вскоре ансамбль распался, и цыгане перешли работать в ресторан «Восток», а Валерий расстался с ними.

Так хочется хоть раз, в последний раз поверить,  
Не все ли мне равно, что сбудется потом;  
Любви нельзя понять, любовь нельзя измерить,  
Ведь там, на дне души, как в омуте речном.

Пусть эта глубь бездонная,  
Пусть эта даль туманная  
Сегодня нитью тонкою  
Связала нас сама,  
Твои глаза зеленые,  
Твои слова обманные  
И эта песня звонкая  
Свела меня с ума.

Вместе со своей первой женой Еленой Бахметьевой Агафонов уехал работать в Вильнюсский драматический театр. Играли в спектаклях, выступали с лекциями и концертами, рассказывали об истории создания романсов и об их авторах.

С бригадами Ленконцерта Валерий объездил всю страну – от Ленинграда до Камчатки. Если отбросить всю романтику путешествий, то гастрольно-колесная жизнь далеко не сахар. Это подчас тяжелейшие условия, ночёвки в неотапливаемых клубах, на стульях и скамейках, питание кое-как, необустроенные дороги, душные, пропахшие бензином автобусы, нищенские ставки (6.50 за концерт). А у Валерия был врожденный порок сердца, ему требовалась особый щадящий режим и сбалансированное питание. Он мучился больше других, и спасала его только неистребимая жажда пения.

Его часто приглашали в любую компанию, он легко соглашался, мчался иногда на другой конец города и своим пением нередко вытаскивал людей из жесточайшей хандры, исцелял души.

Выглядел он... Ох, «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон»... В стареньком, побелевшем по швам пальто, в ботинках, «требующим каши», в кургозом пиджачишке, в заляпанной рубашке. Только его гитара всегда была в идеальном состоянии.

Но на сцену он выходил благородным рыцарем – во фраке, в белоснежной рубашке, в зеркально начищенной обуви. Сцена была его жизнью, остальное было не то, что вторично, третично. И стоило ему только начать петь, как слушатели понимали: на их глазах рождается чудо. Певец ткал волшебство и накрывал им зал.

Певец Евгений Дятлов сказал как-то об Агафонове: «Я считал романс анахронизмом, не понимал, как на этом языке попросить хлеба. И вдруг услышал, как человек на этом языке и молится, и просит хлеба и вина. Рухнули стены какой-то плотины, и со мной происходило что-то странное, словно всю душу вынули, разобрали на молекулы и потом вновь собрали чистой, искренней, омойтой любовью».

В репертуаре Валерия Агафонова насчитывалось около тысячи песен и романсов. В основном это старинный, бытовой, городской романс.

Этот жанр за два века своей истории знал и взлеты, и падения, им восхищались и его отвергали, презирали, иронизировали. Любовь к романсам считалась даже признаком невысокого вкуса. Но романсом заслушивались Пушкин и Фет, Толстой и Тургенев, Блок и Есенин. Его исполняли Шаляпин и Собинов, Иван Козловский и Сергей Лемешев.

Несмотря на кажущуюся простоту, романс – как шкатулка с секретом. Его не так легко исполнять, особенно в сопровождении оркестра, а в эстрадном исполнении он нередко звучит искаженно. Но в исполнении Валерия Агафонова романс – это всегда чудо, сотворенное Господом Богом и талантом человека. Это настоящий бриллиант, а вернее – изумруд. Ни один из певцов этого прекрасного романса не достиг в его исполнении такой глубины и искренности, как Валерий Агафонов.

Нет, ни пурпурный рубин, ни аметист лиловый,  
Ни наглой белизной сверкающий алмаз  
Не подошли бы так к лучистости суповой  
Холодных ваших глаз,  
Как этот тонко ограненный,  
Хранящий тайну черных руд,  
Ничим огнем не опаленный,  
Ни в что на свете не влюбленный  
Темно-зеленый изумруд.

*Мне не под силу боль мучительных страданий;  
Пускай разлукою ослабят их года, –  
Чтоб в ярком золоте моих воспоминаний  
Сверкали б вы всегда,  
Как этот тонко ограненный,  
Хранящий тайну черных руд,  
Ничым огнем не опаленный,  
Ни в что на свете не влюбленный  
Темно-зеленый изумруд.*

Валерий Агафонов – одна из ярчайших, но очень скромных звезд на небе русского романса. Он почти не был известен при жизни, ушел очень рано. Скончался от сердечного приступа 5 сентября 1984 года на улице около Московского вокзала в Ленинграде, по дороге на выступление. После него остались вдова Татьяна Винникова, две дочери – Владислава (Лада) и Дарья, любимый дом на Моховой улице, 32, роли в двух фильмах («Личной безопасности не гарантирую» и «Путёйна») и песни. Его романсы, его бессмертие. И, может быть, в мире чуть прибавится счастья от того, что жил в нем такой певец – Валерий Борисович Агафонов.

*При написании статьи использовались материалы из Википедии, фильма Александра Таненкова «Валерий Агафонов. Автопортрет с комментариями» и фильма «Валерий Агафонов. Вильнюсский период».*

---

## **СЕРГЕЙ ШАУЛОВ**

### ***Картина Левитана***

**Сумерки. Погасли тени.  
Насторожены стога.  
Ночь крадется по деревне,  
Оборвались голоса...**

**Кто ж зовет за край дороги  
На разбрзганныю ртуть,  
Где клубится одинокий  
Одичалый Млечный Путь?..**

\*\*\*

**О, Русь!  
В стога твои пряные лечь,  
Под шорох полевок забыться,  
Миря надо мной будут течь,  
Слезами столетий катиться...**

**Нашепчется скрип половиц,  
Родимый огонь из окошка,  
Смиренная светопись лиц  
И плач гармониста с гармошкой.**

**О, Русь!  
Былинная тень облаков  
Скользит из былого и тает.  
Примолк грозный ропот веков.  
Тиши-то какая! Светает...**

### ***К России*** ***НОКТЮРН разлуки***

**Ты уходишь ромашковым полем  
В пенном ситце к звезде родовой...  
В шалаше сухари, спички с солью,  
Два стакана с прозрачной луной.**

## **СЕЛФИ С ДАНТЕСОМ**

### *Современная притча*

*Поколению 50-х*

Пришелец возник внезапно, как поэтическая строчка. В меру смуглый. Ростом под потолок комнаты в хрущёвке. Пальцы Вана Клиберна. Гравитация фиалковых глаз.

– Интересно, откуда? – невольно подумал я.

– Из галактики, которую наша цивилизация сконструировала и построила сама. Это вы приходите на всё готовенькое. Высшие силы сотворили вам небо, землю, далее по библейскому списку, – ответил он без слов.

Я озадаченно поскрёб у себя за ухом. Молча спросил:

– С какой целью вы здесь?

– Вашу цивилизацию поразила проказа вседозволенности. Я студент факультета земной этики. Мне необходимо выполнить курсовую работу на тему «Нравственная ориентация постсоветского социума». С позволения деканата воспользуемся торсионной приставкой к машине по закручиванию времени. Составляем план-программу, вводим в приставочку... Поехали!

*На мониторе проступает наспех притоптанная снежная площадка. Двое мужчин на расстоянии нескольких саженей целятся друг в друга.*

Треск. Помехи...

*На Чёрной речке материализуются две-три популярные грации. О них вы наслышаны. Из «Дома-один». Потом «Дома-два».*

*Отряхнув с лиц одурь непознанного, современницы молниеносно сообразили, что они на дуэли, что на них наставлен сумрак двух дул и всюду страсти роковые – в любой миг могут грохнуть. Но упустить реальный шанс сботкаться с живым...*

– В этом и заключается суть курсовой: предоставить полную свободу выбора не только светским жрицам, но в первую очередь самому автору. Названием притчи вы предвосхитили выбор искушённых героинь, – незадачливому мне преподал урок студент 1-го курса товарищ пришелец.

– А как же «России первая любовь» кучерявый Александр Сергеевич? – почти обречённо выдохнул я.

– Не актуален. Нищеброд и повеса, – снял копии с мыслей доморощенной богемы обритый пришелец. – Уголовник. То ли светские язычки постарались...

Можно ставить точку. А селфи? Вас не гложет отцифрованная реальность?!

*На одном дамском снимке к испуганному красавцу прильнули по бокам сияющие баловницы судьбы. Обе. Третья грация слиняла.*

Грохнул роковой выстрел.

... у той, что справа от убийцы, рука дёрнулась, мобильник выпорхнул по дуге, зарылся в снег. В момент полёта будто кто щёлкнул сенсорной кнопкой. Пришелец?

*Смахнём снег с экрана, глянем... ... коленопреклонённый Пушкин с фиалковыми от боли глазами целится в соперника. Чуть сзади поэта, наискосок стоят на задних лапах два крупных зайца. Передние лапы подогнуты. Уши торчком. Глаза у четы-то ф... Впрочем, цвет глаз читатель прочувствует сам.*

*Волей случая длинноухие стали свидетелями живой исторической драмы.*

– Как вы проникаете в прошлое? Будьте любезны, предъявите хотя бы один артефакт! – прорезалась во мне прокурорская нотка.

– С опережением в 100 парсек у нас изданы ваши **МЕМУАРЫ О БУДУЩЕМ**, – он извлёк из-под складок мантии нечто и подал на санитарной дистанции мне.

Я, мурлыкая, поскрёб у себя за ухом и принял с высоверком изумрудным кристалл.

Пришелец погас.

– Ещё увидимся! – на всех античастотах вторило эхо. Одна за одной проступают в голове голограммы маятника Фуко в Исаакиевском соборе и невский песочек у стены Петропавловской крепости.

Как-то пусто мне стало.

\*\*\*

*«Ты помнишь большой медный таз, похожий на солнце? В нём тетка варила варенье и розовую пенку снимала тебе».* Моя отроческая память именно в таком виде сохранила слова Кенигсона из к/ф «Цепная реакция»

Ты вспомни, как в «старом детстве немом» («В старом детстве немом, как под партой, темно». Поэт Алексей Парчиков), выщёлкивая тремя перстами вишнёвую ко-сточку, мы нелепо пуляли друг в друга.

\*\*\*

– Не приведут ли эксперименты по смешению времён и событий к аннигиляции, превращению в ничто? – спросил я пришельца, только иного, из рассказа Константина Сергиенко «Побочный эффект», идея которого легла в основу притчи.

В диалог беззвучно вклинивается наш посвежевший студент с копной волос под Анджелу Дэвис:

– Во избежание вселенского хаоса мы работаем в диапазоне от нижнего порога мгновения до верхнего. В этот миг человек чувствует прекрасное, и все дурное исчезает. Затем, для пущей наглядности, микросвиток мгновения разворачиваем до вашего режима реального времени, выявляя пятна социальной проказы и непролазную тьму человеческих иллюзий.

\*\*\*

На родниковой частоте радиостанции «Юность» поседевшие слушатели молча обратились с вопросом... Помехи... нашатырное эхо продублировало мучительный вопрос: *дуэли на Чёрной речке и под горой Машук носили фатальный характер; нельзя ли судьбы на небесах прописывать как-то иначе, без нажима на гусиное перо и курок?*

Вспыхнул кошачий глазок отцовой радиолы. У кого-то «Харьков», у кого «Минск», «Рига»... На мучительный запрос звучит «Лебединая верность» Евгения Мартынова.

06.07. – 18.08.21 г.

**Авиагородок, синь тюркская**

## МАМЕД АЛИ САФАРОВ

### *Крит*

*Из цикла «Сафари Сафарова»*

Лица у людей, идущих вверх по узкой мощеной улице, напряжённые и решительные, а движущиеся им навстречу выглядят куда расслабленней – сразу видно, это отдыхающие, не обременённые заботами. Причина такого различия заключена в крутизне улицы. Публика здесь в основном не спортивная – уклон градусов в пятнадцать требует серьёзного усилия от поднимающихся. Если присоединиться к нисходящему потоку пешеходов, то справа будет ряд таверн – балконов, расположившихся вдоль берега. Балконами они выглядят оттого, что со стороны моря опираются на сваи высотой с двухэтажный дом. Стен у балконов нет, только крыши. Хотя, наверное, можно было бы обойтись и без крыш, дожди здесь редки. Противоположная тавернам сторона представляет ряд стоящих вплотную домов, а над подъездом того, что расположен против нашей таверны, вывеска – ***Reality escape rooms***. Там какие-то «комнатки ужасов» и прочая ерунда. И туда никто не заходит. Потому что не та это реальность, от которой хочется убежать. Пустых столиков в тавернах немного – корямят здесь хорошо, отменное вино и шум прибоя вместо музыки. Я вообще не люблю рестораны с музыкой – не поговорить. Ну, а греческая музыка меня раздражает особенно – похожа на турецкую – плаксиво-заунувная, вся разница в том, что, сколько ни вслушивайся, ничего не разобрать. Когда поют на турецком, общий смысл я схватываю.

А вот на греческом – ни слова. Но не в этом дело, в данном случае непонимание, – возможно, положительный фактор. Если допустить, что сходство мелодий подразумевает сходство слов в песнях.

Эту таверну мы выбрали ещё в самом начале пребывания в Херсониссосе, и почти каждый вечер приходили сюда. Обслуживание здесь на уровне искусства. Я имею в виду цирковое. Зазывала выучил несколько фраз на многих языках и так ловко ими жонглирует, что кажется полиглотом. Нас с женой он приветствует, естественно, на русском: «Привет, как дела. Заходите, заходите, ваш столик вон там. Вам красного или белого?» Это он о вине.

Официанты тоже жонглируют, только не словами, а посудой. Подбрасывают и ловят, пускают тарелки кататься по полу, да так, чтобы они, на манер бумерангов, возвращались к месту запуска. Один из официантов, Николас, вдобавок научился трюку с чашечкой – время от времени выходит на улицу и имитирует опрокидывание чашки на прохожих. Чашка, понятное дело, пуста, и упасть ей он не даёт, ловко подхватывает в последний момент. Люди вначале пугаются, а потом смеются. Тут в дело входит зазывала – и почти в половине случаев достигает успеха. Напуганные и следом развеселившиеся прохожие заворачивают в заведение.

Николас действует на грани фола – вот он подошёл к столику с сидящими за ним немецкими туристами. Стоит, имитируя пьяный ступор, а потом хватает начатый бокал с пивом, выпивает его и проворно убегает на кухню. Поражённые пожилые супруги молча смотрят друг на друга, а проказник через минуту возвращается с новым, полным бокалом, и со смехом ставит на место только что похищенного. Степенные немцы смеются, они не в обиде на шутника. И надо сказать, что разыграно в этой сценке только остоубенение, всё остальное – натуральное. Но, как говорится, «Пьян, да умён, два угодья в нём». Представление ведёт безукоризненно.

Я спросил его, как ему так удаётся, он лишь засмеялся в ответ и сказал, что трудно только в самом конце, к закрытию, а поначалу нормально. Конечно же, и зазывала, и другие официанты пребывают в том же состоянии, что и Николас. И к ним также применима та поговорка. Посетители всё время угождают их, нельзя отказываться, но нельзя и напиваться. Искусство быть «На лёгкой кочерге». На ней все, кроме одного, серьёзного парнишки лет двадцати, в очках. Он похож на студента с Кавказа, приехавшего в Москву и, на всякий случай, держащегося подчёркнуто вежливо и сдержанно. Такие были в семидесятых годах прошлого века, как правило, умные и хорошо воспитанные ребята. Не уверен, есть ли подобные сейчас.

Каждый вечер мы приходили сюда, если успевали вернуться с экскурсии не слишком поздно.

А посмотреть на Крите есть что.

И, помимо знакомства с традиционными туристическими объектами, интересно ведь оказаться в том месте, откуда пошла европейская цивилизация как раз в то время, когда наступило время её конца. По крайней мере, на мой взгляд. И это не в первый раз происходит подобное. Древняя средиземноморская цивилизация погибла после завершения Троянской войны, примерно три тысячи двести лет назад. Нахлынувшие неизвестно откуда варвары разрушили тогда всё – государства, города, храмы, исчезла письменность. Полное одичание, продолжавшееся более четырёхсот лет. В письменных источниках, сохранившихся ещё с тех пор, пока письменность не была утеряна, пришельцы названы «народами моря». Есть много предположений, кто они были, но достоверно неизвестно никому. Некоторая часть из них пришла, возможно, из Ливии.

Точно также, через три тысячи лет, люди, если только они будут существовать, станут ломать голову, откуда появились те, что разрушили великую цивилизацию, руины которой выглядят так волнующе прекрасно. Хотелось бы ошибаться, но, увы, это у меня плохо получается.

Невольно я рассматриваю всё, что вижу вокруг, через призму теле- и интернетных новостей. Вот Минойский дворец, точнее, то, что от него осталось. Вот образцы древнего искусства из музея археологии в городе Ираклион. Свидетельства напряжённой духовной жизни и высокой культуры. И вот толпы пришлых в Европе, гонимых внешней злой силой, уничтожившей их дома, их простые мечты, их будущее. Носители разрушительного начала, инфицированные насилием. Заражённые жестокостью. Они уничтожают Европейскую культуру, точно так же, как народы моря уничтикли Крито-Микенскую и другие соседние. Может быть, это просто роковое возвращение, цикл существования, наивно понимаемое нами как некий эволюционный процесс? И Одиссей на самом деле не мог вернуться на Итаку, потому что там уже жили другие люди – дикие, с разрисованными телами, приносящие человеческие жертвы своим первобытным богам. Разрушающие всё, что напоминало об ушедших богах и поклонявшихся им людях. Дикиари, убившие Лаэрта, Пенелопу и Телемаха.

Как знать. Но я отвлёкся.

От размышлений, не всем интересных, лучше обратиться к наблюдениям. Это тоже далеко не всем интересно, но я уж постараюсь.

Осмотр Крита мы начали, естественно, с Кносского дворца, построенного царём Миносом.

То есть сам дворец не сохранился, просто обтёсанные камни, уложенные рядами, боюсь, уложены они не древними строителями, а по приказу и плану эра Артура Эванса, английского археолога, первого исследователя этих мест и по совместительству, конечно, шпиона. Ну, как же британцу за пределами Англии не пошпионить. Австрийки даже немного его арестовывали, но отпустили. Развалины и вся местность вокруг них напомнили мне дворец Альгамбра в Гранаде. Если встать

лицом к дворцу, то за ним поднимается гряда высоких плосковершинных холмов, точно как в Гранаде. А слева и внизу – город с домами ярко-белого цвета, крытыми красной черепицей. Те же тёмно-зелёные кипарисы среди белых домов. Цветовой контраст так силён, что тёмная зелень кажется почти чёрной. Красивый город, а всё же не Гранада. Вдбавок, на этом сходство завершается. Но что вы хотите, почти три тысячи лет разделяют постройки. Однако что-то общее между тем, что осталось от дворца Миноса, и мавританским дворцом, всё же угадывается. Ещё что бросилось в глаза – символы рогов, выточенные из камня, украшающие развалины. Здесь есть некая скрытая ирония, даже издёвка, известно ведь, что жена царя, Пасифая, изменила ему с быком. Не отсюда ли пошло выражение – «наставить рога»? Каково было царю видеть эти напоминания о позорном падении супруги повсюду в своём дворце. Рога каменные, рога метафорические, всюду рога. Миф о Миносе смело можно было бы назвать мифом о рогах. Рога быка, рога царя, рога Минотавра. Жена Миноса, блистающая дочь Солнца, Пасифая, воспылав страстью к красивому быку, велела искуснику Дедалу изготовить из дерева муляж коровы, обить его коровьей шкурой и поставить изделие на лугу, где пасся бык, а сама залезла внутрь муляжа и таким образом достигла желанной цели. Конечно, она понесла, и через девять месяцев на свет появилось чудовище – Минотавр, человеческий ребёнок с бычьей головой. И со странной склонностью пожирать человеческое мясо. Ни в отца, ни в мать.

Ну, и что же Минос? Его гнев обрушился отнюдь не на похотливую жену – дочь бога Гелиоса, к тому же из древнего рода титанов, тут надо быть осторожным, такие связи в верхах. И даже не на животное,красившее голову царя рогами. Пострадал тот, кто вовсе и не был виноват, – мастеровой человек, Дедал. Его заключили в тюрьму, заперли в башне. Тогда изобретатель сделал две пары крыльев, для себя и своего сына Икара, и, выпорхнув из башни, они улетели на свободу. Но мы же помним, чьей дочерью была Пасифая, Солнце – Гелиос растопил воск, которым были соединены перья в крыльях, но не у Дедала, а у его сына. Боги знают толк в исполнении наказаний. Икар упал и погиб в волнах моря. Как минимум, два урока можно извлечь из этого мифа: первый – насколько опасно простым людям оказываться замешанными в делах сильных мира сего. Уместно вспомнить Грибоедова: «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь».

Слово «барский» легко заменяется словом «божественный».

Второй урок – о европейском понимании справедливости. Царь Минос после смерти стал судьёй в царстве мёртвых, в Аиде. Тот, кто столь несправедливо судил живых, назначен судить умерших. За прошедшие тысячелетия мало что изменилось – живущие в Европе люди полагают, что они могут судить и поучать русских, избавивших их от новых воплощений Минотавра – Наполеона и Гитлера. Ну что же, будем снисходительны к тем, чьи дни сочтены. И эта обречённость меня нисколько не радует. Стоит только представить себе Париж, Милан, Венецию в руинах, как овладевает ужас. Да, Европа, как глупая Красная Шапочка, сейчас вопрошаёт волка, забравшегося в постель её бабушки: «А зачем у вас такие большие зубы?» И скоро получит ответ.

Может ли это быть поводом для злорадства? И может ли нормальный человек не любить Францию? Италию? Ни слова об Испании, ибо помню разговор Дон Кихота с Санчо Пансой о прелестях Дульсинеи. Какую чушь нёс пожилой идальго! Не желаю уподобляться Дон Кихоту. Да и когда влюблённый был объективен?

Однако вернёмся во дворец Миноса. Точнее туда, где он, возможно, находился. Ныне это вполне коммерческое предприятие, вход на огороженную территорию стоит шесть евро. За эти деньги вы увидите груды камней, несколько ярко раскрашенных подделок под античность и больше ничего. Я на всякий случай подобрал там сосновую шишку. Может быть, удастся вырастить у себя сосну со столь почтенной родословной. Честно говоря, ожидал большего. Хотя бы в эмоциональном плане.

Гиды пытаются выдать руины дворца за развалины Лабиринта, но настоящего его места никто не знает. Того волнующего контакта с прошлым, что дарует Сикстинская капелла, Тадж Махал, Хиральда, таинственные строения Петры, я не ощущал. Только отметил, что небо над Критом имеет необычный оттенок – почти неуловимый светло-сиреневый, даже чуть сероватый. Нечто подобное бывает и в других местах, но только на рассвете и на закате. Полуденное небо с сиреневым оттенком – это особенность Крита.

Зато археологический музей даже превзошёл мои ожидания. Правда, смутные тревожные мысли о замкнутом цикле движения цивилизации нашли здесь множество подтверждений. Некоторые творения древних художников и скульпторов в сравнении с тем, что выдаётся за искусство теперь, обескураживают. Вот скульптура Философа – как можно было в камне отобразить размыщение, столь глубокое и приводящее к таким печальным заключениям, читающимся на лице человека, жившего за несколько тысяч лет до нашего времени? Роден придал своему Мыслителю выразительную позу, вызывающую в нас соответствующие ассоциации. Но, в сравнении с античным творением, работа Родена – лишь свидетельство беспомощности модерна.

Древний скульптор просто извялял мысль. Истинное название скульптуры нам, конечно, не известно. «Философ» – это выдумка интерпретаторов.

Регресс – стремительный, современные «мастера» инсталляций изdevаются над публикой, выставляя свои уродливые поделки – и где же здесь тот самый прогресс? Это ли не деградация? А дошедшие до нас женские профили, несмотря на неверное изображение глаз, будто в анфас, так свежо передают прелесть и кокетство тех, с кого написаны, что трудно поверить в их древность. Изменилось многое, в том числе и представление о красоте, но очарование античных красавиц осталось жить в этих изображениях.

Знаменитый глиняный фестский диск, с таинственными надписями на нём, не произвёл особого впечатления. И расшифровать эти надписи едва ли удастся, мне кажется, что диск – всего-навсего первобытная рулетка, оборудование древнего казино. Колесо фортуны. Хотя, возможно, диск этот использовался для гадания, вращая его, люди пытали судьбу – некий аналог древнекитайской «Книги перемен». Что выпадет, то и сбудется. Второй вариант мне кажется более вероятным.

Зато другой знаменитый артефакт, фреска, на которой изображён человек, делающий немыслимое сальто через несущегося быка, поразила меня и не только красотой и мастерством исполнения, но и метафоричностью сюжета. Белая, значит, женская фигура, чудесным образом стоящая перед стремительным быком, держит животное за рога, возможно, пытаясь остановить его бег. Отважный акробат, прыгающий через быка, запечатлен в полёте, вниз головой, это мужчина – фигура красного цвета. Другая женщина, её белая фигура значительно выше ростом, чем та, что стоит перед быком, уже простирает свои руки ему навстречу.

Всего четыре фигуры – два существа мужского пола: бык и акробат, и две женские.

Вот человеческая жизнь, как прыжок – полёт, над бешеным быком, из объятий матери в руки смерти.

Вся фреска красива. Красива настолько, насколько вообще материальный предмет может быть красив. Больше – невозможно. Красива и загадочна. Всё в ней имеет тайный смысл.

Цвет одежд, размер изображённых фигур. Вспомните древнеегипетские рисунки – огромные боги и фараоны, маленькие простые смертные. Огромный бык и под стать ему та, что ловит акробата.

Рождение, Красота и Смерть. Мать, жена и убийца. Бесчисленные триединые ипостаси этой богини во множестве мифов всех народов Земли – свидетельство реальности её существования.

Нет, не спортивная забава изображена на фреске. Это иероглиф, воплощающий красоту, а его смысл – жизнь. От матери до смерти.

Учёные, да и просто здравомыслящие люди, прочитав эти строки, конечно, усмехнутся – надо же, договорился.

Из прохлады музейных залов мы вышли в город, полный зноя и чужой речи. И город, в котором мы не знали ни одной улицы, по контрасту с увиденным в музее показался нам знакомым. Обжитым и привычным. И сразу же эта иллюзия получила своё подтверждение. Продавщица из магазина рядом с музеем на чистом русском языке толково объяснила, как пройти до автовокзала. Возможно, оттого, что я был под впечатлением от посещения музея, девушка показалась мне очень красивой. Но, скорее всего, музей тут ни при чём. Ведь и Люба согласилась со мной. А она менее впечатлительная натура. Да и строже в оценках женской красоты.

Как безнадёжно бедна была наша с ней жизнь, если бы мы не побывали здесь! И сколько ещё есть таких мест на земле, которые уже просто не успеем увидеть. Пирамиды в Египте и Мексике, развалины городов в Андах, остров Пасхи, Тибет, Махенджедаро, таинственные места русского севера, да разве перечислить всё. То, что успели увидеть, – лишь свидетельство неисчислимости чудес. Два человека, бредущих, крепко держась за руки, от одного чуда к другому. Два маленьких, старых человека, спешащих наверстать утраченное время. Впрочем, мы не всегда вдвоём. Несколько раз путешествовали в компании с Лёшней Гавриловым и Светланой, его по другой и моей троюродной сестрой, а кроме того, иногда нас сопровождают не живые люди, а тени отошедших в мир иной. В Париже – мой Вийон, в Индии, в Хампи – мой Афанасий Никитин, в Испании – мой Кортес. Ну и здесь, на Крите, в одной компании с нами – хитроумный царь Итаки, Одиссей. Слово «мой» здесь не уместно, к Одиссею я отношусь иначе, чем к предыдущим своим спутникам. Первоначально мы хотели посетить как можно больше мест, связанных с его странствиями. Только для того, чтобы сравнить их описания с натурой. Но взлетевший курс евро помешал сделать это. Однако порой явно ощущалось присутствие тени этого великого странника и сочинителя. Одиссей мне не родня, как Франсуа или Афанасий. Моё отношение к нему не так однозначно, как к предыдущим спутникам. В русском языке бытует идиома: «Я бы пошёл с ним в разведку». С Одиссеем я бы точно в разведку не пошёл. Спасибо, не надо. Вот Диомед ходил, и что из этого вышло? Благополучно возвращаясь после опасной вылазки, Одиссей вознамерился всю славу и выгоду присвоить себе одному. Напал, понятное дело, сзади, но в этот момент луна вышла из-за облака, и Диомед увидел тень с занесённым мечом. Убивать мерзавца не стал, скрутил и погнал пинками в лагерь. А если бы не луна? Поговорка «Пинки Диомеда» навсегда вошла во многие европейские языки.

От тени такого героя можно ждать чего угодно, и у нас была возможность убедиться в этом. Но общая моя с ним страсть к описанию своих странствий примиряет, и я готов терпеть присутствие призрака. К тому же, покровительство Афины, сноровка сочинителя и рассказчика, – всё это подкупает.

Но и у меня есть преимущество перед царём Итаки – моя Пенелопа существует со мной. Как-то давно я было собрался написать об Одиссее роман – но не хватило сил на осуществление замысла. Так, наброски, несколько моментов, привидевшихся ясно, но не выстраивающихся в линию повествования. И было там описание морского залива, служившего зеркалом Афине. Эта богиня, покровительница Одиссея, заглядывала в него, чтобы полюбоваться на саму себя. Женщина, как никак. И вот, во время экскурсии в город Ханья, мы случайно обнаружили это место. Нет, не морской залив, а озеро Курнас, я увидел и описал, оказывается, ещё до встречи с ним. Довольно точно и вполне подробно. Надо ли говорить, что в древности на берегу озера располагался храм Афины. Теперь каждый может отыскать Кур-

нас в интернете и составить своё мнение об этом удивительном озере. Располагается оно в глубокой каменистой чаше, с неровными краями. Тот край, что повыше, накрыт облаком тумана. Это удивительно, ведь жарко, градусов тридцать, а тут туман. Вода в озере пресная, чистая и прохладная – нет, не холодная, приятная в жару, прохладная вода. До сих пор жалею, что не уговорил Любу поплавать в этом озере, для купания она предпочитает тёплую воду.

Итак, мы поехали в город Ханья, это западная часть острова. Разные волны перемен оставили здесь свои следы. Античный след, венецианский, арабский, турецкий, и, наконец, современный. Может ли не быть очаровательным город с такой историей? Конечно, не может. Сколько судеб, сколько жизней и смертей, счастья и горя, детства и старости, любви и ненависти, сколько всего этого переплетено здесь, на этих узеньких улочках, так похожих на узкие улочки в южных городах, так похожих на улочки в Бакинской крепости. Я уже неоднократно признавался, у меня нет привязанности ни к одному месту на земле. Да, я люблю Испанию настолько, что уже в преклонном возрасте немного выучил язык, но скажи мне завтра Господь, что остаток моих дней я проведу в этой стране, я тут же паду на колени и буду просить его отменить приговор. Описывая путешествие в Таиланд, я говорил, что существует в моей душе призрачная мечта о Граде. Изменчивая, солнная и неясная. Описать не возьмусь, но иногда, какой-то гранью она совпадёт с конкретным местом. То с Толедо, то с Гранадой, то с Парижем, то с Малаккой в Малайзии, то с Патаеи в Таиланде, то с Баку, то с Дубовкой на реке Волга, и это совпадение пробуждает мечту ото сна, обращает в реальность и вызывает такой прилив любви, что никакими словами не передать. Именно к тому месту, в котором сейчас нахожусь. К счастью, это проходит.

И вот город Ханья, расположенный на морском берегу, когда идёшь по улочкам старой части города, дышишь жарким душным воздухом, и даже тень от высоких, теснящихся вдоль старой мостовой домов, не приносит прохлады, вдруг, из переулков, выходящих на набережную, тебя обдаёт прохладный морской воздух. Сходное ощущение испытываешь, когда в жаркой стране подходишь к двери магазина. И прохлада от работающих на всю мощь кондиционеров веет из автоматически распахнувшейся двери. Но только там с прохладой смешаны магазинные запахи, а здесь – пьянящий и освежающий аромат морского простора. В каменной теснине струя прохладного морского воздуха – тихое свидетельство гениальности древних градостроителей.

Мы бродили по старому городу и пришли, конечно, в еврейский квартал. Почти в каждом старом европейском городе он существует. Иногда такой район называется гетто, хотя смысл этого понятия изменился в двадцатом веке: гетто было не то место, куда евреев сгоняли, а наоборот, место, выбранное ими самими, чтобы жить там по законам, данным Моисеем. Как правило, ценой огромных взяток обретали евреи это право. Ну, а после трагедии, произошедшей в тридцатые – сороковые годы двадцатого века в «цивилизованной» Европе, понятие «гетто» приобрело иной оттенок.

Итак, очарованные, забывшие про усталость, шли мы по узким улочкам, украшенным балкончиками с яркими цветами. И вдруг, на белой стене одного из домов я с изумлением прочитал поэтические строки, написанные, чем-то чёрным, кажется, фломастером: *«Tu no tienes la culpa mi amor; que el mundo sea tan feo»* (Не твоя вина, моя любовь, что мир так безобразен).

Не веря своим глазам, потрясенный, стоял я перед стеной с надписью. Здесь, в еврейском квартале древнего греческого города, вдруг эти слова на испанском. Не на английском, не на греческом, – на испанском. Адресованные, очевидно, кому? Что, здесь много испанцев? Или мексиканцев с аргентинцами? Я увидел в этой строке начало некой мистической полемики. Ответ на обращение пришёл мне на ум сразу, как только мы отошли от того дома.

«*Hombre, tu guapisima amor – es solo una piquena partida de este mundo, tan feo»* (Дружище, твоя прекраснейшая любовь – всего лишь малая часть безобразного мира). Вернуться? Но автобус с туристами ждать не будет, и пока я найду, где купить фломастер, мы обязательно опоздаем. И вот теперь, когда я пишу эти строки, мной владеет уверенность, что мои путевые заметки «Сафари Сафарова» будут переведены на испанский и опубликованы. И таинственный автор той надписи прочтёт их и однажды ответит мне. Наивно? Но, как говорили древние китайцы: «Искренность возбуждает небеса». А с помощью высших сил всё возможно, ведь наивность – не более, чем частный случай искренности.

Здесь надо оговориться. Моя любовь к «местечкам», или гетто, то есть местам, где когда-то селились евреи, обусловлена не какими-то еврейскими корнями – я в достаточной мере знаю свою родословную – азербайджанские беки, иранские купцы, горские таубии, русские крепостные, ногайцы, кого там только нет! Нет там только евреев. Причина интереса и симпатии в том, что я слишком хорошо понимаю, не будь в прошлом этих «местечек», облик современных городов не был бы столь богат на оттенки, не был бы так очаровательно разнообразен. И мне нравится бродить по улицам, где когда-то ходили бородатые мудрецы-гебраисты, хитрые ростовщики, самые наивные мечтатели и самые прагматичные дельцы. И раздражение, которое неминуемо вызывают их потомки – банкиры, политики, артисты – юмористы, нисколько не уменьшает моего уважения и даже любви к этой древней породе.

\*\*\*

Все города Средиземноморья имеют схожие черты, чаще трудноуловимые, не поддающиеся описанию. Испания, Италия, Греция, Турция, сумма мест, имевшая в древности название – Ойкумена. Различий между ними, конечно, много, заметить и описать их легче, чем передать то самое, ускользающее, мистическое сходство. Турция – мусульманская страна, Испания и Италия – страны католические, Греция – православная. И ещё, различие в архитектурном обликеселений и городов. Люди тоже отличаются, если присмотреться, внешне. Поразительно, после стольких волн переселений, после столетий турецкого владычества среди женщин и мужчин, населяющих Крит, нет-нет, да встречаются типы, подобные запечатлённым древними скульпторами и художниками. Статные, высокого роста, таких почти нет в Италии и Испании и мало в Турции. Мужчина ростом около двух метров – здесь не редкость. Да и в грубой выразительности лиц угадывается сходство с предками, положившими основу европейской цивилизации. Древний народ. А вот пребывание под властью турок проявляет себя порой самым неожиданным образом.

Моя хромота становится особенно заметна, когда я поднимаюсь в гору. Так, на Шри-Ланке, после того, как я преодолел крутой подъём и поднялся на высокое плато Сигирия, люди встретили меня аплодисментами. Люди из разных азиатских и европейских стран аплодировали мне, и это было, кажется, единственным случаем в моей жизни.

Здесь, на Крите, когда мы поднимались в гору, группа местной молодёжи обогнала нас, и один шутник, под весёлый хохот других юношей и девушек, стал копировать мою походку. Не уверен, но думаю, подобного не могло произойти ни в Испании, ни в Италии, ни в Турции. Люди редко смеются над инвалидностью, это как-то не принято. Так же не принято, чтобы товарищи по разведке нападали на своих, желая присвоить славу себе одному. Как Одиссей на Диомеда. Но, как мы видим, существуют особенности национальной разведки и национального юмора. Сказать, что выходка шутника задела меня, наверное, нельзя. В его возрасте я и бегал, и прыгал, и лазил по горам на уровне спортсмена-разрядника. Ну, а теперь отбежался, не страшно. Однако копировавший меня юноша рассказал о местных людях явно больше, чем хотел бы. Как тот воробышек, что клевал хлеб с моей ладони в

итальянском ресторане, поведал нам об итальянцах больше, чем множество хвалебных рассказов о чудесной стране и её народе. О стране, где маленькие птички не боятся людей.

Униженное положение на протяжении многих поколений отрицательно сказывается на национальном характере. Поэтому рассказы гидов о многочисленных зверствах турок лично у меня не находили особенного отклика. Может, так и было, а может, и не было. Выйдя из-под чужого владычества, бывшие покорённые народы склонны преувеличивать свои мучения под гнётом прежних господ. Существуют легенды о зверствах испанцев в Латинской Америке. Зверствовали на самом деле англичане и голландцы в Северной Америке, а в Южной – немцы, итальянцы и другие представители европейских народов. Особым зверством отличались солдаты повстанческой армии Боливара, уничтожавшие испанское население без различия пола и возраста. Но помнят все о жестокости испанцев. Представляю, что сейчас рассказывают гиды в Прибалтике о зверствах русских. Но я знаю о зверствах латышских стрелков во время национальной трагедии великого народа. Оказавшись у кормила власти, они убивали русских в их стране, просто за национальную принадлежность. Русские, в большинстве своём, забыли об этом. Даже не требуют у Латвии контрибуций и компенсаций. Хотя, конечно, по справедливости, надо бы. Просто, чтобы не скучали.

Не вызывает сомнений, что зверства со стороны завоевателей было предоставлено. Но вот кто мне объяснит, почему во время битвы между войсками султана Баязета и эмира Тимура братские, по отношению к туркам, крымские татары вдруг предали султана и перешли на сторону врага, а христианские рыцари – порабощённые сербы, предпочли смерть предательству. Все до одного полегли, сражаясь за сатрапа. Что-то тут угадывается, о чём не любят говорить интерпретаторы истории. Кстати, о них, об интерпретаторах.

Во время одной из экскурсий нам показали очередной памятник древности – раскопанный участок площадью в несколько сот квадратных метров, обнажившиеся из-под слоя земли каменные строения. По рельефу окрестностей раскопок угадывалось, что вся эта местность некогда была застроена, и много чего можно было бы найти, расширив площадь поиска.

Но не ищут. Наш гид, производивший впечатление образованного и думающего человека, на мой вопрос: «А не боятся ли учёные обнаружить что-то, что не соответствовало бы их представлениям и концепциям?» неожиданно и совершенно спокойно согласился со мной: «Наверное, так оно и есть».

Действительно, для них всё уже достигнуто – учёные степени получены, уважение, признание, наконец, безбедное существование. Чего, спрашивается, копать. Ведь не известно, что выкопаешь.

Вон, откопала американская исследовательница артефакты, опровергающие принятую наукой версию заселения человеком Американского континента. Ну и чего добилась? Просто о ней забыли, вычеркнули из списка «учёных». А не беспокой солидных людей. Солидные люди предпочитают спокойную жизнь.

Но вернёмся на Крит. Я уже говорил, что века унижений и приспособлений к чужой воле калечат национальный характер. Не всегда, согласен, не всегда.

Гордые и дружелюбные испанцы несколько веков жили под владычеством мавров. Русские – под татарами, или монголами, или теми и другими, если только всё это не выдумки, про монголо-татарское иго. Для греков порабощение не прошло столь бесследно. Некоторые черты национального характера до сих пор напоминают о былых обидах и унижениях. Судите сами. Зашли мы в магазин, и я принялся выполнять обычную свою роль переводчика между моей женой и продавщицами.

Одна из них, женщина лет сорока, с выбритой наполовину головой и татуировками на бритой поверхности, стала говорить со мной на греческом. Она всего лишь холодно усмехалась при этом, а остальные девушки покатывались от смеха. Здоровая такая бабца, с крепкой, мужской шеей и сильными плечами. Глядя прямо мне в глаза, произносит не понятные мне, но очень веселящие её подруг слова.

Я её спрашиваю: «Что ты меня материшь, я же ничего плохого тебе не сказал?» А там много выходцев из СССР, кто-то да поймёт, что я говорю. Нет, никто не реагирует, представление продолжается. Ну, а мне не хочется прибегать к ядерному оружию русского мата. Женщина, как-никак. И пустил в ход тактическое оружие мата на азербайджанском языке. Мама, папа, все похожие на невежливую продавщицу были аккуратно мной упомянуты. Видимо, есть в звучании скверных слов какие-то интонации, оскорбительные уже по одному только звучанию, я на эти интонации и рассчитывал.

Но дело в том, что происходило это в Греции! Полубритую ведьму как ветром сдуло, а подружки её, только что так веселившиеся, стали вдруг серьёзными и вежливыми.

Только тогда я сообразил, что нецензурные слова азербайджанского языка точно похожи на те же слова в турецком. За много веков покорного выслушивания всего подобного, видимо, выработался рабский рефлекс. Бритая ведьма напугалась.

Судить по описанным мной случаям обо всём населении греческого острова Крит совершенно неправильно, стоит вспомнить официантов из нашей таверны, приветливого хозяина гостиницы, где мы остановились, нашего гида, которая старательно и интересно рассказывала нам о жизни острова и его людях. Вполне серьёзно рискуя своей работой, она по секрету поведала мне, что остров Спиналонга, где раньше находился лепрозорий, впоследствии использовался как место ссылки коммунистов. Жизнелюбивые греки едва ли придут на собрание или митинг, где есть предположительные носители проказы. Даже если они зовут в светлое будущее и справедливое устроенное общество.

Наконец, надо упомянуть обитателей монастырей, монахов.

Говоря об отрицательном влиянии иноземного ига, нельзя забывать и о других, противоположных последствиях его. Особенно ярко они проявляются, если поработители исповедуют другую религию. От этого отношение к своей вере приобретает трепетный характер. Именно такое отношение к православию мы видим в Греции. Сильнее всего это ощущается в здешних монастырях. Монастыри на Крите – это отдельная тема, для её освещения требуется более глубокое знание предмета. Я же, случайный наблюдатель, отмечу лишь красоту и чистоту монастырских строений.

Принято говорить: «Чисто, как в операционной». При описании православных монастырей на Крите я бы сказал иначе: «Чисто, как в раю». И также красиво. Хотя, конечно, в раю я не был. Но предполагаю. И обитатели этих монастырей – наверняка, верующие люди.

Во всяком случае, в их манере, в их облике не угадывается никакого усилия по исполнению роли. И в глазах нет обычной для служителей религиозных культов хитрости, что всегда вызывает во мне настороженность и отторжение. Эти люди не выглядят как чиновники Господа Бога, сановные, важные, очень телесные, легкие мишени для пасквилянтов и насмешников.

Православные монахи здесь держатся вполне естественно и доброжелательно. И для того, чтобы восстановить в памяти их образы и великолепие их обиталищ, мне почти не надо делать усилий. Это очень живой и сильный знак памяти.

Но не все монастыри, по моим ощущениям, обладают такой благодатью. Это различие мне показалось интересным и важным моментом.

Только в некоторых из монастырей ощущаешь возможность существования дальнего прообраза этого места – рая.

Вот интересно было бы определить и рассказать, в чём разница между монастырями. Но описать это ощущение не возьмусь. Не получится. Интересующимся проще съездить и проверить. На Крит, разумеется, в монастыри. С раем лучше по-временить, насколько возможно.

Во впечатлениях о посещении монастырей есть, конечно, нечто загадочное. Ведь в принципе, ничего особенного вы здесь не увидите – ну, олеандры, ну, бугенвиилии, араукарии и кипарисы – так они здесь везде. Искусно сложенные каменные постройки – тоже ничего удивительного, камень здесь дармовой, и люди, конечно же, научились работать с ним. Точно так же, как в центральной России научились создавать шедевры зодчества, используя древесину. Я не религиозный человек, а с момента массового духовного прозрения, когда все вдруг взяли и уверовали – от бандитов до депутатов и шоуменов, я почти атеист. Однако назвать материальную причину особого состояния души на территории некоторых – подчёркиваю, некоторых монастырей на острове Крит не возьмусь. Это не радость, не печаль и не любопытство. Нечто другое. Хотя всё Средиземноморье обладает какой-то необъяснимой привлекательностью. Океанические пляжи – бесконечные, сверкающие и безлюдные, внешне куда как красивее, к тому же мягкий песок и мягкие цены на всё, что ловят рыбаки вечно тёплых водах. Однако есть некий магнит, заставляющий нас возвращаться на эти неудобные, каменистые пляжи, забывая при этом о высоких ценах в европейских ресторанах и о волшебстве океанических пейзажей с пальмами и казуаринами. Взять хотя бы острова – остров в океане – это сухопутная часть бесконечного водного пространства. Остров в Средиземном море – это бунт суши против воды.

Могу с уверенностью сказать, что ощущения силы таинственного магнита возрастают в некоторых местах Средиземноморья в разы. И те православные монастыри, о которых идёт речь, входят в число этих мест.

Вспоминается рассвет над морем в Аликанте, который я встретил в кресле на балконе своего номера. Надо было спешить, экскурсионный автобус уже сигналил, подгоняя опаздывающих, но не было сил оторваться от зрелица солнца, восходящего над Ливаном и устремляющегося в привычный свой путь к Геркулесовым столбам. Но в этом воспоминании я могу назвать детали очарования – подсвеченные снизу лёгкие облака, сверкающая полоса воды, здесь же не возьмусь выделить что-то конкретное.

\*\*\*

Воспоминания о других наших экскурсиях на острове слились в одно – горные дороги, вид на море, оливковые рощи и сиреневое небо над головой. На Спиналонге – развалины лепрозория, на южном, обращённом к Африке берегу, – пещеры в прибрежных скалах, дорогие виллы и надпись на английском, огромными буквами на плакате: **«Завтра не наступит никогда»**.

Это лозунг хиппи, обитавших здесь, в дни нашей юности, в те времена, когда мы должны были строить коммунизм. Идеей его построения наше государство пыталось обмануть своих молодых.

Лозунг, противоположный лозунгу хиппи, выглядел так:  
**«Коммунизм – светлое будущее всего человечества».**

И как же мы должны быть благодарны за этот обман, спасший нас от того страшного, рокового, обмана о том, что завтра не существует. Я, пожилой путешественник, живущий уже не в завтра, а в послезавтра, против времени моей молодости, только теперь могу оценить степень циничности этого обмана. Свидетельствую, что завтра наступило и уже даже прошло, и будет наступать всегда, пока мы верим, что есть сегодня, и помним, что было вчера. Но тем, кто правит этим миром, чтобы обеспечить благополучное завтра своим детям, необходимо внушить всем остальным, что завтра не придёт.

Успокойтесь, расслабьтесь, кайфуйте. И не суетитесь, и не мешайте нашим дорогим чадам занимать их места под солнцем. Только сейчас весь масштаб чудовищного обмана стал ясен для меня, с высоты прожитых лет.

Идеология хиппи не возникла спонтанно, для этого она слишком уж отвечала интересам сильных мира сего. «Занимайся любовью, а не войной», «Всё, в чем ты нуждаешься, – любовь».

Философия любви, практика любви, свободная любовь, наконец, однополая – кому какое дело, кто кого как любит! Всё на выбор, вместо христианской любви. Интересно, кто заинтересован в этой подмене? Впрочем, когда рухнет цивилизация христиан, ответ будет ясен.

Завтра обязательно наступит. Только для тех, кто молод и несмышлён. Для меня и моих ровесников уже не успеет наступить. Но хочется, отчего, сам не знаю, найти слова, чтобы убедить несмышлённых в моей правоте. Может, это от того, что в юности меня обманывали идеей коммунизма. Может, в каких-то глубинах души я и поверили. Все мы внушаемы.

Ну вот, опять я отвлёкся от описания Крита. Моя непоследовательности есть оправдание – слишком многое здесь заставляет задуматься. Вспомним ту статью из музея археологии – размышление и печаль, запечатлённые в камне. Если вы хотите посетить остров, но колеблетесь, то вот мнение человека, побывавшего здесь. Ехать стоит, только чтобы увидеть этот шедевр. Достаточно этой причины. Ну и, конечно, всё остальное – море, монастыри, таверны, города. Тот, в котором мы жили, называется Херсониссос. Главной своей улицей он вытянулся вдоль моря, и кипучая жизнь туристического места наполняет эту артерию днём и ночью. Мы уже имеем достаточно опыта, чтобы оценить сходство подобных мест во всём мире. Будь это Италия или Вьетнам, или какая угодно европейская или азиатская страна, везде похожие отели, и весь антураж. Люди, еда в ресторанах и сувениры в лавках, конечно, отличаются. А так всё везде одно. Но природа, люди и памятники прежних времён – вот то, что манит нас и заставляет собираться в дорогу. Еда и сувениры – не главное. В Херсониссосе мы жили в двухзвездочном отеле. В двухзвездочном потому, что просто не было однозвездочного. Нам и такой бы сошёл.

Конечно, никаких видов на море – это дорого. Вместо моря наши окна выходят на бассейн. Живём мы на втором этаже, и поэтому достаточно открыть балконную дверь, чтобы услышать родную речь – большинство туристов – такие же, как мы, не-богатые люди из России. И ещё одно преимущество: наш балкон обращён на восток, это даёт мне возможность утром любоваться на восходящее солнце через бокал с красным вином. Наполнив, таким образом, и вино, и себя светом Гелиоса, я опустошаю стеклянный сосуд. И это начало моего завтрака. Жена не поддерживает моей привязанности к этому ритуалу. Лишь иногда соглашается составить мне компанию. А на мой неизменный вопрос, чувствует ли она привкус солнечного света в напитке, отвечает всегда коротко: «Не фантазируй, вино как вино».

Как и везде, мы мало времени проводим в номере – только спим, ну и телевизор по вечерам смотрим, новости. Политики, знаменитости, беженцы, террористы. Мы живём в этом калейдоскопе, нравится это нам или нет. Впрочем, суматоха и несправедливость – это плата за то, что мир стал маленьким, и даже простые люди приобрели возможность видеть его в разнообразии. Каких-то полвека назад путешествия были привилегией очень немногих.

А вот теперь, достаточно посмотреть из окна нашего номера, чтобы увидеть самых что ни на есть простых людей, они плавают, загорают, выпивают – словом, наслаждаются жизнью, и смотреть на них нам весело и приятно. Особенно запомнились нам три подружки. Две – высокие, смуглые, немного, самую малость, монголоидные. Третья – хрупкая и золотоволосая. Девушки пытались лежать на воде

в бассейне, но у светленькой не получалось, она тонула. Подруги помогали ей, как могли, и примером, и советом. «Звездочкой ляг, звёздочкой». Не выходило, и всё тут. Тонула.

В один из последних наших дней на Крите эти девушки зашли в нашу таверну. Сразу после нас, мы ещё не успели выпить вина. Ну, может только пригубить. Так что сумасшедшая идея пойти и познакомиться с ними появилась у меня не от выпитого. Просто так захотелось. Я сказал жене, она пожала плечами: «Рискни».

Надо отметить, очень точно сформулировала. Учитывая мой возраст и мою хромоту, риск налицо. Я представил, как буду возвращаться на своё место, если моя попытка встретит холодный приём. «Старый дурак», – моя жена, конечно, не скажет это и даже не подумает. Просто пожалеет. Ну и этой жалости достаточно, чтобы не решиться. Я встал и подошёл к столику, за которым уселись девушки, и сказал им:

– Надоело смотреть на вас сверху вниз, дай думаю, хоть поговорю.

Они переглянулись. Я объяснил, как мог коротко, что мой балкон выходит на бассейн. И в той же лаконичной манере продолжил:

– Хочу сказать: плавучесть девушки зависит от её красоты. Если красота себя выражает пышностью форм, такая будет парить в воде, как чайка в небе. Но красота разная бывает – если это изящная красота, хрупкая и грациозная... – я махнул рукой, – это путь в пучину. Хоть звёздочкой ложись, хоть как, всё равно, утонешь. Закон физики.

Допускаю, может, смеялись мои собеседницы из уважения к возрасту и из вежливости. Но тогда это было очень большое уважение и какая-то гипертрофированная вежливость.

Девчата были из Самары, и ещё я спросил, как им нравится Крит. Они сказали, что очень нравится, но сравнивать им, собственно, не с чем. И я пожелал им, тоже не из вежливости, а от души, объездить весь мир. Когда самаритянки уходили, они помахали нам на прощание.

Дай бог, чтобы моё пожелание трём подругам сбылось. Ведь эра туризма стремительно идёт к завершению. Слишком много опасностей – вирусы, стремительно разлетающиеся вместе с их носителями по всему свету. Раньше смертоносные инфекции выкашивали целые регионы и, не имея возможности к распространению, заставались до времени. Теперь картина другая – в любой момент роковая мутация вируса может уничтожить миллиарды. Никаких водородных бомб, астероидов и потопов не надо. Вирусы. Вирусы и самолёты.

И растущая разобщённость – религиозная, имущественная, идеологическая. И нестабильность политическая и финансовая – рухнет банковская система, – какой уж тут туризм. А без туризма – как? Это не только отели и самолёты, это и сотовые операторы, и обслуживание, и даже вязальщики веников для уборки в гостиницах. Страшно подумать, сколько людей лишатся работы, если другие лишатся возможности путешествовать. Хотелось бы, чтобы пронесло, но как? Может, чудо.

Последний наш день на Крите мы провели в гостинице, пошли на бассейн, а перед этим я купил три литра красного вина. И оказалось, что такое это хорошее место, этот остров, здесь можно прекрасно жить, даже если никуда не ходить. Но, как говорили в советские времена: **Это не наш метод**.

---

---

## **ГЮЛЮШ АГАМАМЕДОВА**

### ***Аусвайс***

Многие знают, какой документ носил название «аусвайс» (от нем. Ausweis). Согласно не обязательно для этого говорить по-немецки. Удостоверение личности. Пропуск, подтверждающий, что вы благонадежный гражданин (в частности, не еврей), подчиняющийся установленным законам. Законы могут быть антигуманными и даже преступными, как в случае с аусвайсом. Сколько несчастья принесла такая сегрегация людей на «хороших» и «плохих» в понимании нацистских властей, общизвестно. Казалось бы, пережив столь печальный опыт, люди, даже те, кто родился после кошмара Второй мировой войны, должны стараться не попасть в эту ловушку очередной раз. И что мы видим сегодня? Новая «прогрессивная» медицинская сегрегация. На «хороших» и «плохих». На тех, кто имеет Ковид паспорт, и других, тех, кто его не имеет.

В демократических странах Запада прогресс дошел до того, что смена пола становится обычным явлением, столь спорная эвтаназия, то есть добровольное лишение себя жизни, в некоторых странах принята на законодательном уровне. Не говоря о законах о геях, которым разрешили не только официально регистрировать браки, но и усыновлять детей. Все монотеистические религии к подобным демократическим достижениям относятся с подозрением, а эвтаназия (читай – самоубийство), считается страшным грехом. Демократия развилась настолько, что религия ей не указ, и не только религия, но и базовые принципы человеческого сообщества. Деление людей на мужчин и женщин для особо развитых демократий не является очевидным.

Каким образом в столь развитом социуме стала доминировать идея о медицинской сегрегации? Ковид пандемия привела к странной ситуации, когда людям стали выдавать ковид паспорта, совсем, как когда-то аусвайсы. Обычные общегражданские удостоверения оказались на сегодняшний день лишь дополнением к главному документу – Ковид паспорту. Без него вас не пустят практически никуда. Ну разве что в продуктовый магазин и в аптеку.

Такую политику оправдать, по меньшей мере, сложно. Заражаются вирусом, как вакцинированные, так и невакцинированные. Разница, по словам ученых (пребывающих, по всей вероятности, в полном замешательстве), в тяжести заболевания. То есть, невакцинированные переносят болезнь тяжелее и занимают места в переполненных больницах. Понятно. Предупредите людей, что те, кто не хочет делать вакцину, будет лишен медицинской помощи, полагающейся по страховке. Пусть платит из своего кармана за дорогое лечение. Один из вариантов. Взрослые, дееспособные люди, как правило, отвечают за свои поступки. Выдавать людям аусвайсы, разжигать страсти, натравливать друг на друга – это позволит победить болезнь?

Еще одно объяснение, также, в определенной степени, конспирологическое, к которому склоняются некоторые, – невероятные доходы, которые уже получили, получают и, если ситуация не изменится в ближайшее время, будут получать фармацевтические компании, те, кого ласково называют Bigpharma. Несколько крупнейших мировых компаний, захвативших большую часть фармацевтического рынка и установивших свой диктат. Именно они являются производителями не только вакцин, всевозможных лекарства, тестов, но и сопутствующих средств санитарной защиты.

Для них пандемия, кроме того, что является страшной болезнью, с которой борется, как с чудовищем, все человечество, оказалась к тому же источником фантастических доходов, которыми они делятся с властью предержащими. Мировой масштаб пандемии способствует этому обстоятельству. И чем дольше продлится такое положение, тем больше денег они смогут заработать.

Какова реальная подоплека происходящих событий определить очень сложно. Не исключаю, что стихийно возникший страшный вирус выполняет роль испытательного полигона для различных сценариев по управлению чрезвычайными ситуациями. Репетиция, одним словом.

23 января 2022 года в Брюсселе прошли демонстрации протеста против Ковид паспортов. Люди из разных стран Европы съехались в Брюссель – штаб квартиру Евросоюза, чтобы объяснить членам европейского парламента, что «санитарная диктатура», так они назвали то, что происходит сегодня в европейских странах, ничуть не лучше любой другой диктатуры. Рассерженные демонстранты бросали в полицейских камни, те в ответ использовали слезоточивый газ и водометы. Силы не равны. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в Твиттере : «Решительно осуждаем бессмысленные разрушения и насилие на сегодняшней демонстрации в Брюсселе, в том числе против наших помещений». Побили стекла демонстранты, жаль, конечно. Стоило задаться вопросом: до какой степени возмущения дошли толерантные европейцы, что пошли бить стекла в зданиях ЕС.

Франция – страна «Свободы, Равенства, Братства», заявила устами своего президента, молодого, энергичного Эммануэля Макрона, что с понедельника 24 января 2022 года будут действительны только вакцинныe паспорта. Это значит, что все граждане старше 16 лет обязаны получить одну или две дозы, в зависимости от типа вакцины, а также бустерную дозу по истечении срока вакцинации. Не важно, есть у граждан иммунитет к вирусу, а, может, аллергия, тяжелые заболевания, при которых запрещена вакцина. Не важно. Это все отговорки. Президент объявил, что французы, не желающие вакцинироваться, не настоящие французы. Если такая практика не является диктатурой, то что это?

Великобритания, успешно завершив Brexit, позволила себе не оглядываться на европейцев и отменить все ограничения, связанные с пандемией. Разные мнения на этот счет. Но не могу не отметить смелость премьера Бориса Джонсона. Да, его обвиняют в участии в вечеринках в период локдауна. Видимо, так устал от санитарной диктатуры, что не устоял перед соблазном повеселиться.

У нас в Азербайджане применили метод, который в бывшем Союзе называли «добровольно принудительным». Вроде, у вас есть выбор, а если внимательнее посмотреть, то его нет. Знакомая девушка, парикмахер, очень эмоционально рассказала мне о том, как страдала после вакцины, потому что у нее были противопоказания, в том числе гормональный сбой. Но отказаться от вакцины не могла, иначе лишилась бы работы. А у нее дети.

Как оказалось, учиться на чужих и даже на своих ошибках не получается. Диктатура, аусвайсы, слезоточивый газ, водометы в ходу, как и прежде. И как прежде все во благо человека.

## **АЛАДИН ЯГУБОВ**

### **ПЛАНЕТА ЛЮБВИ**

\*\*\*

**Я о любви пишу иначе –  
без пафоса, без громких слов.  
Любовь свою я в сердце прячу,  
закрыв на тысячу замков.**

**Я не вещаю всему свету  
о ней фанфарною трубой.  
Моя любовь –  
моя планета,  
я из галактики другой.**

**Я о любви пишу иначе –  
без громких слов,  
без пышных фраз.  
И страсть, и нежность  
в сердце прячу,  
не выставляя напоказ.**

### ***По тонкому льду***

**Бреду по льду вслепую, наудачу,  
Не узижу, надеюсь, в полынью.  
Напротив берег огоньком маячит,  
А я у кромки все еще стою.**

**Зеркальный лед судьбой отполирован,  
В нем отраженье страха глупых глаз.  
Я жалок и смешон, как старый клоун:  
Упав, встаю –  
уже в который раз.**

**Кружится ворон.  
Прочь, стервятник, рано!..  
Ты карканьем округу огласил.  
Но я еще иду –  
упрямо, пьяно.  
Во мне еще дойти достанет сил.**

## **Старые друзья**

Постарел мой давний друг, постарел.  
Поседел мой старый друг между дел.  
И заходит он ко мне не всегда –  
Между делом, так, зайдет иногда.

Окуджаву просит спеть старый друг,  
Но дрожанья не унять в пальцах рук.  
И подводит, как назло, голова –  
Забываются мотив и слова.

Поднимаясь, скажет друг:  
«Мне пора.  
Далеко идти домой –  
три двора».  
«Да, не близок и нелёгок твой путь.  
Осторожней, не спеши...»  
«Как-нибудь».

И шагнет мой старый друг за порог.  
Как там завтра будет все,  
знает Бог.  
«Если что, –  
скажу ему, –  
позовешь».  
«Если, что, –  
ответит он, –  
сам придешь...»

## **Алые паруса**

Вращаясь, время-колесо  
катит тропинкой юбилеев.  
Прости меня,  
моя Ассоль –  
я не тяну уже на Грея.  
Давно не пишутся стихи,  
давно с друзьями не сидится.  
И снова сумерек штрихи,  
наводят смутную границу  
меж беззаботнейшим вчера  
и выстывшим,  
как дом, сегодня.  
И вот кричат уже: пора  
спуститься вниз  
по пьяным сходням.  
Качаясь, путь продолжу свой,  
перебирая в пальцах четки.

Уже проблемы с головой,  
и вкус не тот у доброй водки.  
Других не водится утех,  
как горсть землицы бросить сверху –  
все чаще я в цепочке тех,  
кто занят этою потехой.  
Нет, не пишу давно стихов...  
Укромно уместившись с края,  
клочками алых парусов  
латаю прошлое, латаю...

### **Мелеет Каспий**

**Давно не жгут под окнами листву,**  
**ругаясь, дворники...**

**Который год**  
**И чаек не увидеть на плаву,**  
**где на приколе ржавый пароход.**

**Мелеет море. Хлябь у берегов.**  
**А дальше пленкой тянется мазут.**  
**Я здесь не встречу старых рыбаков,**  
**а новые сюда не забредут.**

**Гуляя ветер, нудный гилавар,**  
**с пустынь несет нещадный липкий зной.**  
**Вернись назад,**  
**обиженный Хазар,**  
**спасительной прохладною волной!**

**Утес печальный,**  
**каменный горбыль,**  
**над жижею болотною повис.**  
**Скала морская, осыпаясь в пыль,**  
**вот-вот да рухнет безнадежно вниз.**

**Песчаный пляж –**  
**пристанище собак,**  
**грызущихся за найденную кость.**  
**Пройду я мимо, прибавляя шаг,**  
**не распаляя их собачью злость.**

**Приду домой,**  
**и, не стесняясь слез,**  
**корявой строчкой в тишине ночной**  
**я опишу тот умерший утес**  
**над мутною каспийскою волной.**

## **Дом, который построил я**

Я строил дом, крепя опоры,  
все лишнее убрав.  
Вокруг меня рождались споры:  
где прав и где неправ.  
А я, сжимая крепче зубы  
в молчании своем,  
порой бывал довольно грубым,  
но это был –

### **Мой Дом!..**

Я строил так, как мне хотелось,  
законам вопреки.  
Глупцом прозвав меня за смелость,  
смеялись старики.  
Но поднимал уже я стены –  
в два ряда кирпичом.  
Вздувались на запястьях вены,  
все было нипочем!

...Когда же дом укрыл я крышей,  
от ветра и невзгод,  
шепнул на ухо кто-то свыше:  
«Не зря ты прожил год!..»

## **Хандра**

Перебором дней моих  
реже струны я тревожу.  
Поостыл да поутих –  
я не тот, что был моложе.

Отгорел костер, золой  
по ночам меня не грея.  
Неужели все прошло?..  
Неужели я старею?..

Март мяуканьем котов,  
весть весеннюю разносит.  
Только я листвой стихов,  
воспеваю снова осень.

Беспросветная хандра  
грудь сжимая, сердце гложет.  
У погасшего костра,  
реже струны я тревожу.

## ***Муза***

...Ко мне опять вернулась Муза,  
в прозрачном  
    до бесстыдства платье,  
под шепот чувственного блюза  
раскрыла мне свои объятья.  
Дыханьем жгучим обжигая,  
меня накрыла сетью страсти.  
Ах, эта грешница святая,  
как много в ней  
        над нами власти!  
Изнемогая до рассвета,  
сгорая в пламени желаний,  
я снова был ее поэтом  
нагою правдою признаний.  
Вскрывая душу сутью слова,  
склонял главу пред ней смиренно,  
в ее закованный оковы,  
не знал я сладостнее плены...  
Но посчитав меня обузой,  
сковав уста мои печатью,  
ушла, в ночи растаяв, Муза  
в прозрачном и бесстыжем платье.  
И я один, изнемогая,  
опустошенно ждал рассвета.  
Какая ночь была!..  
    Какая!..  
Давно ль со мною было это?..

---

## **ИРИНА ПЕРЕСАДА**

### **P A C C A Z I**

#### **Выбор**

Мужчина, поздоровавшись, уверенно прошел в кабинет. Сел в кресло, закинул ногу за ногу и своими абсолютно круглыми глазами внимательно обвел комнату.

– Неплохо тут у вас, уютно, – наконец резюмировал он. Потом также внимательно рассмотрел психолога Анну. – Вы мне тоже нравитесь, кажется, с вами можно иметь дело.

Она улыбнулась и в тон ему ответила:

– Спасибо, вы мне тоже симпатичны. Кажется, с вами приятно иметь дело, – потом, услышав со стороны двусмысленность своей фразы, удивилась себе, но спокойно продолжила. – Очевидно, речь пойдет о любовной истории.

– Да, вы правы. Все остальные свои дела я решаю сам. Любовные, впрочем, тоже. Но сейчас я запутался. Мне нужна помощь.

– Расскажите, – мягко сказала она. От мужчины исходила невероятная мужская энергетика, и Анна неожиданно поняла, что ей совсем не хочется выслушивать его историю, а хочется оказаться совсем в другом месте, где она могла бы позволить своей голове кружиться, а телу блаженно расслабиться. Но...

– Я начну сначала.

– Конечно, так будет проще.

– Хорошо. Дело в том, что я никогда не хотел жениться, – помолчав, начал он.

– Мне было вполне достаточно практически ежедневных любовных приключений. И знаете, я не прилагал для этого никаких усилий.

– Верю, – ответила Анна, все больше попадая под его обаяние.

– Вы же видите, что я – урод, и это – мягко говоря. – Он внимательно оглядел свои руки. – Я маленького роста, ноги кривые, руки лопатой, пальцы, как сосиски. Хорошо еще, что я долго занимался боксом и айкido. Накачал мышцы, да и спина распрямилась. А в школе я был худым и кривым. Но девочки всегда вешались на меня, и я никак не мог понять, почему. Правда, я был отличником. Но в отличников влюбляются редко, а в таких уродов, как я – тем более. Потом мне надоело задавать себе этот вопрос «почему?», и я просто принял факт – я самый крутой и сексуальный тип в школе. Потом та же история продолжилась и в институте. Посмотрите на меня – глаза круглые и навыкате, как у рака, нос до подбородка. К девятнадцати годам волосы на голове вылезли полностью, – у него действительно была потрясающая лысина, абсолютно круглая и блестящая, словно тщательно отполированная. – После института начали выпадать один за другим зубы. Но этот вопрос современной стоматологией решается быстро. – Мужчина улыбнулся, демонстрируя великолепные зубы, которые действительно выглядели, как настоящие. – Импланты. Дорого, правда, но это того стоит. В немецкой клинике мне и создали эту роскошь. У меня тогда уже был свой бизнес, дела шли хорошо и в стране, и за рубежом. Сколько лет прошло, а зубы как новенькие. Кстати, там же, в Германии мне хирурги предлагали подправить внешность. Но я не согласился – кто его знает, в чём моя удача? Может, в моём уродстве? Ну, так вот, годам к двадцати шести мои родители решили меня женить. Сами невесту подыскали. Я долго брыкался – зачем себе добровольно жизнь портить? Но они меня уговорили хотя бы посмотреть на невесту. Я посмотрел и впервые в жизни влюбился. Она была не просто красавицей, она была чудом. И имя у неё

было красивое и нежное – Нушаба, как будто специально созданное для неё. Сыграли свадьбу. После третьего ребёнка я понял: кроме детей, нас ничего не связывает. Влюблённость прошла, а любовь так и не пришла. Она оставалась такой же милой и ласковой, удивительно красивой, но воздушная романтическая юная девушка превратилась в обычную домашнюю клушу. Ей были нужны только дети. Она тряслась над ними, видя опасность буквально во всём. И если бы не моё спартанское воспитание – они были бы потеряны для общества. Я тоже сумасшедший папа, но в другой крайности. Дети должны быть сильными, смелыми и добрыми. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, как, должно быть, страдали мои сыновья, испытывая на себе такие разные подходы к воспитанию. Все внимание отдавалось детям, а наши личные отношения словно застыли на какой-то мертвой точке. Через семь лет мы развелись. Знаете, она даже не стала подавать на алименты: «Ты и без алиментов детям последнее отдашь, зачем что-то ешё?» Действительно, я оставил им дом с садом в пригороде, машину – слава Богу, она научилась её водить. На имя детей положил деньги на депозит – тогда давали сумасшедшие проценты. А себе купил большую квартиру в новостройке в городе. Сначала пробовал вернуться к прежней жизни, но не получилось. Повзрослел, наверное.

Алию я встретил через полгода после развода. Она была полной противоположностью моей жене. Энергичная, серьёзная и глубокая. Она работала редактором в центральной газете. Я не скажу, что она была красива, но её светло-карие глаза всегда смотрели так спокойно и понимающе, что ты как будто отдохнул в её взгляде. Алия была единственной из всех женщин, которую я завоёвывал. Она сопротивлялась два месяца, а потом – помчалась тройка с бубенцами! Кстати, тройка была на самом деле. Я пригласил её в Москву на масленицу. В тот год было очень холодно и снежно. Мои друзья устроили нам катание на тройке в санях. То ли кони были причиной, то ли мороз, который заставил её утонуть в моих объятиях, но крепость пала. И я вам скажу: осада того стоила. Возвращались мы вместе уже ко мне домой. Новые отношения закрутили меня и крутили до того незабываемого апрельского дня.

Мужчина замолк, закрыв глаза. Потом выпил стакан воды, снова налил его и продолжил.

– В тот день я зашёл по делам в министерство. Довольно быстро всё уладил и решил повидаться с другом, который работал тут же. Спустился на его этаж, отыскал комнату в запутанных коридорах власти и вошел. Был обеденный перерыв, в комнате было шумно и весело. То, что случилось потом, итальянцы называют «удар молнии». Девушка сидела на столе и светилась в лучах яркого солнца. Распущенные волосы создавали ореол вокруг её тоненькой фигурки. Словно волшебная бабочка опустилась на стол и замерла. А я осталенел под этим ударом молнии, я понял, что пропал. Ещё не видя её лица, я знал, что люблю его, что больше мне ничего не нужно и что это навсегда. Нармин тоже была поражена, но моим уродством. Правда, как и остальные женщины, она через пять минут после знакомства перестала замечать его. Через неделю я сделал ей предложение. Через две я познакомился с её родителями, через четыре месяца была назначена свадьба. Её отец, вероятно, поняв во мне старого ловеласа, поставил условие: «Дочь мою до свадьбы трогать не смей – убью». Я не стал спорить и дал слово – до нашей свадьбы я её не трону. Да и зачем было торопиться? Я наслаждался нашими встречами, разговорами, мимолётными прикоснениями, которые с ней были для меня слаще, чем обладание. Я познакомил Нармин со всеми моими друзьями. Однако они очень настороженно приняли её – ещё свежи были мои восторги по поводу Алии.

– Да, а что же Алия?

– В тот же апрельский день я сказал ей, что полюбил другую девушку и женюсь на ней. Она ничего не ответила, а только посмотрела на меня. В её глазах впервые я увидел растерянность и смятение вместо обычного спокойствия. Она быстро со-

брала вещи и немного помедлила в дверях. Я ничего не сказал. А что было говорить? Прости? Я – подлец? Но я не чувствовал никакой вины. Я уже любил другую. Я был переполнен новым чувством. Я был счастлив.

– Наверное, это было жестоко.

– Возможно, но я этого не чувствовал. Я был честен с ней и с собой. И я ещё не делал предложение Алие. Мне не в чем было винить себя. За месяц перед свадьбой мой бизнес рухнул. Знаете, это отдельный разговор. Хакерская атака на деловую переписку, один из западных партнёров мощно подставил меня. Все деньги со счетов были сняты и уплыли в неизвестном направлении. Концы потом так и не нашли. Но самым большим ударом оказался отказ Нармин выходить за меня замуж. Я лихорадочно искал выхода после потери бизнеса, и у меня начал вызревать план нового дела. Восстанавливать старое я не хотел. Если Аллах закрывает один путь, нужно найти новый. Во время одной из встреч с Нармин я начал делиться с ней своими планами, но она не став слушать и, отводя в сторону глаза, сказала:

– Отец говорит, что мне не стоит выходить замуж за голодранца с тремя детьми. Я привыкла к комфорту. А ты не сможешь мне это обеспечить.

Честно говоря, я сначала и не понял, о ком идёт речь, и глупо переспросил:

– За какого голодранца?

– За тебя.

– Нармин, какое это имеет значение? Мы же любим друг друга, это главное. А деньги, бизнес – это решаемо.

– Папа говорит, что только в сказках с милым рай в шалаше. А в жизни нужно многое другое.

– Нармин, ты любишь меня?

– Да, люблю, но это не важно.

Она не смотрела на меня, как я ни старался поймать её взгляд. На все мои доводы, аргументы и факты она отвечала одним:

– Папа говорит, что не нужно.

– Нармин, но ведь только на те свадебные украшения, что я купил тебе, можно открыть небольшой бизнес.

– Ты хочешь забрать их? Вот, я принесла, – она быстро открыла сумочку и достала аккуратный пакет. – Возьми, здесь всё.

Наш разговор был на эстакаде, уходящей в море. Я взял пакет, размахнулся и забросил его подальше в волны. Со стороны, я сейчас понимаю, это был театральный жест, но тогда я словно отбросил от себя тот ужас, который меня охватил при отказе Нармин.

– Правильно папа говорит, ты – ненормальный. Псих! И хорошо, что я не выхожу за тебя замуж! – она резко развернулась и побежала к берегу.

Я пил долго. По-чёрному. Без просыпу. В минуты прояснения в голове звучали её слова: «Хорошо, что я не выхожу за тебя замуж», и я снова напивался. Однажды, когда я спустился в магазин за очередной порцией водки, я встретил Гулама. Это был старый добрый знакомый, из тех, с кем приятно раскланиваться, но близких отношений не получается.

– Слушай, что с тобой? В каком ты виде? Я думал, ты летаешь от счастья, а ты еле ползаешь.

– С чего бы мне летать?

– Да у вас же вот-вот родится малыш. Алия такая счастливая ходит, вся светится.

– Кто?!

Он внимательно посмотрел на меня.

– О, да здесь всё так запущено. Вы что, расстались?

– С кем?

– С Алией.

Я стал медленно трезветь. Алия должна родить? От кого? В тумане я попытался посчитать сроки. Кажется, всё совпадало. Ребёнок действительно должен быть мой. Я взял Гулама за грудки, потряс и потребовал:

– Рассказывай!

– Ниджат, это ты должен рассказывать. Что я знаю? Алия на сносях. Я думал, это ваш ребёнок.

– Ребёнок наш. Мой. Только я не знал об этом. Где она?

– Ниджат, проспись, потом сам всё выяснишь. Я-то причём?

Дома я долго стоял под холодным душем, наблюдая, как хмель понемногу выходит из головы. Потом оделся, зашел в парикмахерскую в нашем же доме и побрился. Выпуклые глаза ещё больше выпячивались на похудевшем сером лице. Лысина потускнела, как зеркало под влиянием времени. Только приличный костюм и свежая сорочка из старых запасов придавали мне сносный вид.

Дверь открыла Алия. Она попятилась, одной рукой прикрыв рот, а второй держась за большой живот.

– Кто? Мальчик?

– Я не знаю. Кого Бог даст.

– Мальчик. А почему молчала?

– У тебя же невеста, свадьба. Зачем тебе это? – она выразительно показала на живот.

– У меня ничего нет. Ни невесты, ни бизнеса. Я голодранец с тремя детьми. Уже скоро с четырьмя, – теперь я показал на её живот. – Правда, квартира осталась. Поедем домой?

Она посмотрела мне в глаза, и я увидел там такую нежность и любовь, что задохнулся от поднявшегося к горлу кома, упал на колени и разрыдался. Я никогда в жизни не плакал, даже в детстве, не знал, что это такое. А сейчас, обнимая её живот, рыдая в голос, я почувствовал огромное облегчение и счастье, которых никогда не испытывал раньше.

Алия родила через три дня. Мальчика. Мы с ней успели сходить в загс, там, увидев её живот, расписали сразу. Так что сын родился в нормальной семье, с мамой и папой. Перед загсом я ей сказал:

– У меня сейчас ничего нет – ни денег, ни бизнеса, я не смогу обеспечить тебе нужный комфорт.

– У тебя есть мы с ребёнком, у нас есть ты. Разве этого мало? У нас есть наш дом. Это уже много. А у меня есть работа. Думаю, прорвёмся куда-нибудь.

С рождением моего четвёртого сына жизнь стала стремительно налаживаться. Моя идея оказалась гениальной, не буду скромничать. Бизнес снова пошёл в гору. Я купил загородный дом по соседству с моей первой семьёй, и мы туда переехали. Ну-шаба приняла Алию очень тепло, чему я удивился и очень обрадовался. Для старших сыновей младший оказался любимой игрушкой. Они его нянчили, а когда чуть подрос – стали учить играть и воспитывать.

Мужчина снова выпил воды, достал сигареты, потом спрятал их.

– Я всё время забываю, что бросил курить. А пачку ношу так.

– На всякий случай?

– Вот-вот. Ну, я продолжу. В роду моего отца всегда рождались только мальчики. Даже в семейных легендах не было ни слова о девочках. У отца пятеро братьев. У меня два брата, у братьев только сыновья. А тут мне захотелось дочку. Прямо до боли. Когда Алия забеременела во второй раз, я каждый день гладил её живот и разговаривал с дочкой.

– Слушай, Ниджат, а если снова мальчик? Представляешь, какая травма будет у ребёнка – с ним общались как с девочкой, а он оказался мальчишкой.

Определять пол ребёнка Алия категорически отказалась.

– Кого Бог даст, того и даст.

Вторую беременность Алия переносила плохо, приходилось все время ездить в город наблюдать у врача. К концу её беременности мы снова переселились в городскую квартиру, чтобы быть поближе к врачам. Где-то за неделю до срока родов я ранним утром поехал за город к детям и малыша взял с собой. Алия плохо спала ночью и заснула только под утро. Чтобы её не тревожить, я запер дверь на замок, который открывался только снаружи. Было воскресенье, погода стояла прекрасная, мы с мальчишками поехали на море, погоняли в футбол. Потом позавтракали в кафе, каждый рассказывал мне свои новости. Они знали, что скоро у них должен появиться братик или сестренка, знали, как я хочу девочку, и с энтузиазмом фантазировали, как они будут заботиться о ней, защищать от плохих людей и диких животных, как научат играть в футбол. Я несколько раз звонил жене, но телефон был отключён – наверное, она спала. К часу дня не ответил и городской телефон. Мне стало тревожно. Оставил малыша Нушабе и помчался в город. Лифт не работал – в доме не было электричества, и аварийный генератор тоже почему-то не подключили. Я взлетел на одиннадцатый этаж, отпер дверь. Алия стояла в прихожей, прислонившись к стене.

– Ниджат, как только ты ушёл, у меня начались схватки. На моём телефоне села батарейка и городской тоже не работал, потому что вырубили свет. Я не смогла выйти – дверь была заперта. Пыталась с балкона позвать соседей, но рядом никто не живёт. Ниджат, звони в «скорую», я рожаю.

Я заорал как сумасшедший:

– Терпи, не торопись! Сейчас врачи приедут!

Пока я звонил в «скорую», потом братьям, Алия стала оседать на пол.

– Ниджат, не волнуйся. Я рожаю. Скорей принеси простыни, я уже не дойду до кровати. – Я помчался в спальню, схватил матрас и несколько простыней, принес их в прихожую и уложил Алию. – Не бойся, милый, соберись, нужно принять роды.

Алия застонала, а мне стало страшно. Как?!!! Как я могу принять роды? Я не знаю, что это такое!

– Аленка, родная, ну, потерпи немного, врачи едут уже.

– Я рожаю...

В этот момент внутри меня что-то вспыхнуло, и я воскликнул, обращаясь к небесам:

– Господи, если даёшь такое испытание, дай силы, чтобы пройти его, дай умение, чтобы помочь жене!

И как отклик в голове вдруг зазвучал голос покойной бабушки, и всплыла молитва, которой она нас учила в детстве:

– Пророк сказал, что молитва эта – Аль-Фатиха – избавляет от всех болезней, кроме смерти, запомните её и всегда обращайтесь с ней к Аллаху:

*Бисмил-ляхи рахманирахим.*

*Аль-хамдулил-ляхирабиль-алямин.*

*Ар-рахманирахим.*

*Мяликияумид-дин...*

*Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного,*

*Хвала – Аллаху, Господу миров.*

*Всемилостив и Милосерден Он один,*

*Дня судного один Он Властелин...*

Я стал в голос читать её, а Алия протяжно закричала, и я увидел, как что-то показалось из её чрева. И в эту минуту вселенское спокойствие снизошло на меня, а моими руками словно стал водить опытный акушер. Я понял, что выходит головка ребёнка, стал мягко поглаживать её, и она постепенно продвигалась вперёд. Алия

снова закричала, и головка вышла наружу. Редкие светлые волосики покрывали её. Этот миг остался у меня в памяти, словно фотография, сделанная навечно. Я чувствовал, как ребёнок стремится наружу, и нежными точными движениями помогал ему. В какой-то момент, ощущив бессилие Алии, я закричал:

– Тужься, Алия, тужься! Родная, ты сильная! Мы сможем, мы уже смогли!

Показались плечики, и вместе с водой вынырнуло тельце. Я поймал его, схватил простыню, обернул, и в этот момент ребёнок закричал. Мне чётко послышалось в его крике:

– Молодец, папа! Спасибо, мама!

– Кто, Ниджат? – слабо спросила Алия.

– Я не знаю...

– Ну, посмотри.

Я раскрыл простыню и не увидел того, что на обычном месте видел у своих сыновей. Сначала я опешил, а потом сообразил:

– Аленька, это дочка... – слёзы полились из глаз, и снова включились все эмоции. Я положил девочку на грудь жене, стараясь не пережать пуповину, которая от ребёнка уходила в чрево матери, и обнял их обеих.

Тут отворилась входная дверь – слава Богу, что я не захлопнул её – и на пороге показалась бригада врачей из «скорой помощи». За ними я увидел испуганные лица своих братьев. Потом доктора говорили, что мне нужно дать две медали: первую – за мужество, оказывается, многие мужчины, решив присутствовать при родах жены, позорно падают в обморок. А вторую медаль – за высочайший профессионализм в принятии родов. Девочка была абсолютно здорова, и у Алии не было ни одного разрыва. Их отвезли в клинику. Я порывался сразу же ехать с ними, и братья еле убедили меня принять душ и переодеться. В ванной в зеркале я увидел своё лицо – перепачканное, испуганное, но одновременно блаженно-счастливое.

Имя для дочери я придумал заранее – Умida. В переводе с арабского оно означает «желанная». Кроме меня, никто не верил, что родится девочка, даже Алия, поэтому я ни с кем и не советовался, выбирая имя. Однако оно понравилась всем, а сыновья стали называть сестрёнку Умка, она и вправду походила на смешного медвежонка. С этого дня со мной произошла трансформация – я стал ощущать жену частью самого себя. Если бы меня спросили, люблю ли я её, я и не ответил бы сразу. Как можно любить свою голову или своё сердце? Но отними их – и жизнь закончится. Интересно, что Алия ощущала то же самое – мы стали одним целым с двумя телами.

Мужчина замолчал, погрузившись в себя. Его странное лицо осветил внутренний свет, и оно стало красивым и одухотворенным. Через пару минут он встрепенулся, возвращаясь в настоящее, и продолжил:

– У меня есть одна привычка, уж и не знаю, хорошая или плохая, но я никогда не выбрасываю никакие рабочие бумаги. Они все подшиты и хранятся в архиве. У нас в офисе есть такая комната, и в ней всегда идеальный порядок. Как-то мне понадобилась информация ещё со старой фирмы, я нашёл нужную папку и стал листать документы. Совершенно неожиданно на одном листе в верхнем углу я увидел городской номер телефона и имя – Нармин. Буду честен – я вспоминал её иногда, и сразу возникало лёгкое сожаление, какое, вероятно, бывает у детей, когда они понимают, что волшебство остаётся в сказке, а в жизни происходит совсем иное. После разрыва я удалил из телефона все номера Нармин и никогда не ездил по той улице, где она жила. В нашем городе невозможно и квартала пройти, чтобы не встретить пару-тройку знакомых, но за все эти годы я ни разу не встретил Нармин. Ни на улице, ни в ресторанах, ни на концертах, ни на бульваре. Сейчас, когда передо мной лежал номер её телефона, меня охватило неодолимое желание услышать её голос, и я позвонил. Ответила сама Нармин.

– Привет, это я. Как ты?

Я ожидал чего угодно, кроме того, что услышал:

– Слава Богу! Наконец! Я так ждала тебя, так мечтала увидеть, так хотела услышать твой голос. Наконец! Я поняла тогда, что люблю тебя сильнее, чем думала, а потом поняла, что я просто не могу жить без тебя, – она выпалила это скороговоркой, словно боялась, что не успеет высказаться.

– А почему сама не позвонила?

– Я не смогла, – она помолчала. – Боль в твоих глазах в тот вечер была такой сильной, что душа разрывалась от мысли – от моего звонка тебе станет ещё хуже. И что я могла предложить тебе? Отец категорически был против, даже не хотел говорить на эту тему. А как я могла переступить через него? Я удалила твои телефоны, чтобы не запомнил их. Я сменила работу – министерство на аэропорт.

– И вышла замуж.

– Нет! Я не могу ни на кого смотреть, я не могу ни о ком думать, кроме тебя. И так все эти годы. Приезжай сейчас, – Нармин назвала место встречи.

– Нармин, я голодранец с пятью детьми.

– С пятью? Ты женат?

– Да, и счастливо, – тут я вдруг понял, что я действительно счастливо женат.

– Неважно. Ты позвонил, ты хочешь меня видеть. Я тоже. Я хочу быть с тобой.

– Нармин, но я не смогу обеспечить тебе комфорт, к которому ты привыкла,

– Прости меня, я была дура дурой. Приезжай!

И я поехал. Нармин изменилась за эти годы. Исчезли девичья непосредственность и обаяние юности. Но появились глубина в глазах и обаяние женщины, познавшей любовь и заплатившей за это большую цену. Нармин взяла меня за руки и заглянула в глаза. Взглядом она пыталась проникнуть в меня, словно искала там моё прежнее чувство и ответы на свои вопросы. Я мягко отстранил её и открыл дверцу машины.

– Я вижу, ты не бедствуешь, судя по классу автомобиля.

– Нармин, с тобой я – голодранец с кучей детей.

– У меня умер отец, а мама давно мечтает выдать меня замуж. Женихов много, ведь я завидная невеста. После отца остался бизнес, половина которого – моя. Всем управляет брат. Он способный и абсолютно честен со мной. Я работаю, потому что мне нужно занять себя, да и жизнь в аэропорту бурлит. В этом кипении мне удается забыть о тебе. Но теперь мы будем вместе.

Я пытался разобраться в себе. От прежнего удара молнии остался только пепел, но из него, кажется, была готова возродиться птица Феникс. Мы стали встречаться. Каждое утро я подвозил её на работу. Иногда мы виделись и по вечерам. Но я – человек открытый, мне очень сложно прятаться, опасаться, что кто-то может узнать о наших отношениях и рассказать Алие. А этого я не мог допустить: причинить боль жене – это причинить боль самому себе. И я ни за что, ни при каких условиях не променял бы мою семью на Нармин. Так продолжалось довольно долго. Нармин расцвела, глаза её светились, в ней появилась грация счастливой женщины. Я любовался ею, испытывая чувства Пигмалиона, увидевшего ожившую Галатею. Но отношения не могут застыть на одном уровне – это ведёт к концу, всегда необходимо развитие. А я не стремился к этому. Нармин заговорила первая.

– Наверное, нам нужно расстаться. Ты многое мне даёшь, но я чувствую – наши встречи уже ни к чему не приведут. А я тоже хочу семью и детей, хочу найти себя и в таких отношениях. А пока ты рядом, это невозможно с другим.

Мужчина снова замолчал. Психолог воспользовалась паузой и спросила:

– А почему она не хочет родить от вас?

– Она хочет, но я не сплю с ней. Я не могу предать жену.

– А ваши встречи – это что?

– Это не предательство, это дань прошлому, в котором остался узел. Это попытка его развязать. А ребёнок только завяжет новые узлы. Хотя я безумно люблю

своих детей.

- И что, вы развязали узел?
- Для себя да. Но для Нармин он затянулся ещё туже.
- А в чём вы хотите совета?
- Как нам с ней расстаться?
- Вы уже расставались прежде.

– Тогда она резала по живому. Но даже я, сильный мужчина, чуть не сломался. Меня спасли Алия и сын. А что делать ей, хрупкой женщине? Я думаю, может, нам постепенно свести на нет наши встречи? Сначала встречаться через день, потом через два, потом через три, потом...

- Вы уже составили график?

– Не иронизируйте. У неё сейчас трудный период – она расстаётся с любимым человеком, и ей нужна поддержка. Кто, кроме меня, сможет ей помочь? Я не могу быть подлецом и оставить её в трудную минуту.

Анна опешила.

- С кем она расстаётся?
- С любимым человеком.
- А кто он?
- Это я.
- А кто её хочет поддерживать?
- Тоже я.
- Для того, чтобы не расставаться?

Мужчина удивился.

- Для того чтобы помочь ей преодолеть кризис.
- Скажите, а если вы будете рядом, как вы расстанетесь?
- Вот в этом я и запутался. Если я уйду – я буду подлецом, оставившим женщину в беде. Если останусь помогать ей – мы не расстанемся, и я буду подлецом, который мешает ей наладить личную жизнь.

Психолог в очередной раз поразилась изощрённости игры человеческого ума. Этот сильный, умный мужчина придумал себе задачу, которую сам не может решить.

– Как я понимаю, подлецом вы будете считать себя в любом варианте. А вы сами чего хотите?

– Я? – он задумался. – Я хочу быть со своей семьёй. Вы знаете, как мы все дружно живем! Алия, Нушаба и наши дети. Мы ходим в гости друг к другу, вместе отдыхаем, вместе путешествуем. Если бы ещё и Нармин могла бы быть с нами. Я был бы абсолютно счастлив. Но это невозможно. Что мне делать?

- Оставьте себе то, что возможно. И отпустите то, что должно уйти.
- Но она же будет страдать.
- Если бы страдания не были нужны человеческой душе, Господь не допустил бы их. Страдания очищают душу и делают сильнее тех, кто преодолел их.

– А по-другому разве нельзя?

– Можно. Ведь у Нармин был выбор. Остаться с вами или послушаться отца. Она выбирала между любовью и послушанием.

- Она не могла его послушаться.
- И получила страдание. И у Алии тоже был выбор – сделать аборт или подарить жизнь ребёнку от любимого человека. Она выбрала жизнь, и жизнь подарила ей счастье. С любимым.

– Да, это так.

– И у Нушабы тоже был выбор – встать в позу и порвать с вами все отношения, кроме материальных, или принять вашу новую жену и детей. Она выбрала второе и получила крепкие семейные связи и поддержку.

- И это так.

– И у вас есть выбор – семья, спокойствие детей и чистая совесть или тайное развязывание узлов прошлого, которые завязываются всё туже. Помните, что сделал Александр Македонский с узлом?

– Разрубил его.

– Быстро и надёжно. И получил награду, а не страдание. Выбор всегда за нами, главное – взять ответственность на себя и быть готовым к последствиям своего выбора, принять их как неизбежное. Счастье или страдание, пустота или жизнь. Выбирайте.

– Знаете, в делах я руководствуюсь именно этим принципом. Но бизнес – это игра. А жизнь...

– Законы одни. И выбор всегда за нами.

Мужчина встал. Анна протянула руку, он наклонился и поцеловал её.

– Спасибо вам. Я пойду. Рубить узлы.

## **Начало и конец**

### **1**

Риад оглянулся по сторонам и, не увидев никого на тихой улице, помчался вприпрыжку, высоко подбрасывая папку с нотами. Какая-то сумасшедшая мелодия бурлила во всём теле и радостно вырывалась из горла;

– Ля-ля-Айла, ля-ля-Айла, ля-ля-ля!

В жаркий ленивый послеобеденный час никто не выглянул в окно, чтобы посмотреть на юного влюблённого, который голосит во всю мощь молодых лёгких, проплавляя неведомую Айлу. Возможно, лишь древние старушки заулыбались в своих продавленных креслах, вспоминая весенние годы. Риад до того увлёкся своей песней и полудиким танцем, что не заметил, как за ним притормозил автомобиль и мужской голос окликнул:

– Риад! Сын! Риад!

Наконец слова прорвались сквозь его бушующую радость, и он замер.

Из окна «Волги» на него, улыбаясь, смотрел отец.

– Садись, вместе домой поедем.

Риад опустился на заднее сиденье, радуясь, что до дому остался всего лишь квартал, и не надо будет объяснять отцу причину своих плясок посреди дороги. Однако отец догадался сам:

– Влюбился, сынок?

– Последний экзамен сдал!

Отец скептически оглянулся:

– Ну-ну... Хорошо, что последний, а то людям отдыхать мешаешь.

Риад даже самому себе не смог бы ответить, как и когда он влюбился в Айлу, студентку с параллельного курса. А сегодня он, наконец, осознал, что состояние бурлящей радости, восторга и счастья появлялось в нём не просто так, а тогда, когда на дальнем горизонте появлялась Айла. Когда же она появлялась на ближнем горизонте, его охватывали полное онемение тела и лёгкое помрачение рассудка. Назвал вещи своими именами Алекс, друг Риада:

– Слушай, а ты же не на шутку влюбился.

– В кого? – глупо спросил Риад, пытаясь примерить на себя слово «влюбился».

– Я сначала не мог понять, ведь эти три подружки как приклеенные везде вместе ходят. Потом понял – в Айлу, самую длинноногую из них.

Риад удивлённо посмотрел на Алекса, а потом ещё глупее переспросил:

– Влюбился, да? Это точно?

– Ну, брат, ты даёшь! – засмеялся друг, – вечером встретимся, поговорим.

Алекс убежал домой, а Риад сел на скамейку в сквере и задумался. Неужели это и есть любовь? Когда невероятная фантастическая музыка сама звучит в тебе, счастье расширяет грудь, а ноги, наполнившись какой-то сладкой слабостью, подкашиваются, когда Айла идёт по коридору... Пазл сложился. Он влюблён. В Айлу, это точно! Открытие окрылило парня, и он понёсся домой, перейдя в неистовый пляс на тихой родной улице.

Отец больше не стал его расспрашивать ни в машине, ни за обедом.

Риад не был «ботаником», хотя, возможно, и стал бы им, если бы не отец.

Мать парня обожала Шекспира и была страстной поклонницей оперной музыки. Она с самых первых дней замужества мечтала стать счастливой матерью оперной звезды – певца, или певицы, или дирижёра, или, на худой конец, первой скрипки в оркестре. Однако её старший сын категорически отказался заниматься музыкой, предпочитая футбол и шахматы. Потом у него проявились недюжинные математические способности, он стал победителем нескольких всесоюзных школьных олимпиад и его пригласили учиться в крутом интернате для особо одаренных детей при Московском университете. Родители и порадовались, и посокрушились одновременно, но согласились на его переезд, чтобы не ломать судьбу будущему великому математику. После его отъезда мать стала воплощать свою мечту во втором сыне, то есть в Риаде. Он не сопротивлялся, в музыкальную школу ходил с удовольствием, а особенно ему нравились концерты, когда он, сыграв какую-то пьесу на своей скрипичке, долго кланялся под аплодисменты восторженной публики, состоящей в основном из родителей и близайших родственников юных исполнителей. Однажды Риада перед концертом увидел отец. Мальчик стоял в коридоре, готовый к выходу, и поджидал маму, наводящую последние штрихи красоты перед зеркалом. На Риаде были белая сорочка с красным галстуком-бабочкой, чёрные шортики и чёрные лаковые туфельки с белыми носочками. Волосы аккуратно разделены боковым пробором и залакированы. Пай-мальчик со скрипичкой. У отца округлились глаза, но он ничего не сказал перед концертом, зато после него, закрывшись с матерью в гостиной, о чём-то долго и возмущённо говорил с ней. Риад напрягал весь свой музыкальный слух, но смог разобрать лишь некоторые слова: я не позволю... это мужчина, а не...талант... я сам займусь...

Он ничего не понял по сути разговора, но с того дня из его жизни исчезли шортики, галстуки-бабочки, лак на волосы, уступив место крутым джинсам, распахнутым сорочкам и какой-то немыслимой стрижке, которую ему сделал парикмахер отца. Отец стал возить его с собой в любое время года на дачу, приучая к мужским занятиям – пилить, строгать, мыть машину, разводить костёр, сажать деревья. Риаду нравились эти перемены, но ему было немного жаль маму, когда она после их возвращения с дачи, нежно брала его руки в свои, разглядывая появившиеся царапины, целовала их, потом мыла душистым мылом, смазывала кремом, повторяя при этом:

– У мальчика талант, как ты этого не понимаешь! Он будет большим музыкантом.

– Ничего страшного, музыкант тоже может быть нормальным мужчиной, – неизменно отмечал отец.

Музыку и скрипку Риад бросать не собирался. Он был абсолютно доволен своей жизнью. В ней была музыка, были мужская дружба с отцом, нежность матери, друзья и поездки к брату. Но когда ему исполнилось пятнадцать лет, в жизни появился ещё один важный аспект. Отец, поздравляя его с днём рождения, протянул конверт.

– Здесь билеты на самолёт. Ты с дядей летишь в Ленинград.

– О, здорово! Там сейчас уже белые ночи, музеи, театры!

– И это тоже, – сказал отец, странно посмотрев на него.

Когда через неделю они с дядей уже сидели в самолёте, тот рассказал Риаду об основной цели визита в северный город.

– Понимаешь, парень, твой отец волнуется за тебя, он хочет, чтобы ты стал настоящим мужчиной. Он считает, что твоя музыка может тебя не туда завести.

– Куда не туда? – удивился Риад.

– Твой отец видит два варианта развития событий. Первый: ты романтик, поэтому влюбиться можешь в любой момент и в кого угодно. Примешь первую страсть за любовь на все времена, захочешь жениться, пойдут дети, потом прозрение, развод, депрессия... В общем, проблемы...

– Я не понял, почему развод, депрессия?

– Дослушай, а потом будешь задавать вопросы.

– Ладно, продолжай.

– Второй вариант: среди артистов много этих... – дядя замялся, – ну, этих самых...

– Голубых, что ли?

– Ты продвинут, мужик. Правильно, их.

– И отец боится, что я стану одним из них? Но я не хочу быть голубым!

– А кто хочет? – философски заметил дядя. – Жизнь так складывается. И вот твой отец поручил мне познакомить тебя с другой стороной жизни, чтобы не прошёл ни первый, ни второй вариант.

– Я ничего не понимаю, – растерянно протянул парень. – Что мы будем делать?

– Знаешь, – решительно ответил дядя, – буду говорить прямо. Мы едем к девочкам, чтобы они научили тебя всему.

– Каким девочкам? Чему всему? – Риад продолжал недоумевать.

– Бог мой! К проституткам! Отец твой хочет, чтобы ты стал мужчиной во всех смыслах, – дядя, наконец, выдохнул и откинулся на спинку самолётного кресла.

– А что у нас в городе нет проституток?

– Есть, конечно, но они все знакомые, светить тебя не хочется, – ответил дядя и прикусил губу, поняв, что ляпнул лишнего.

– Тебе знакомые или отцу?

– Мне, естественно, – дядя взял тяжесть вины на себя. – А в Питере ещё и музеи есть, и театры, и концерты, и белые ночи...

– И это тоже, – повторил Риад слова отца.

– Ну, сын, как прошло твоё путешествие? – спросил Риада отец, встречая их с дядей в аэропорту.

– Спасибо, папа, хорошо. Тебе всё рассказать? – ответил парень, делая ударение на слове «всё» и глядя отцу в глаза. Тот сделал вид, что ничего не заметил.

– Ну и прекрасно, я рад.

Больше вопросов о поездке ни он, ни мать не задавали.

После того лета Риад изменился. Он стал сдержан в эмоциях, немногословен и язвителен. И почему-то чувствовал себя трёхлеткой, которого до смерти напоили са-могоном. Каждому овощу своё время...

Риад окончил школу и поступил в консерваторию. К тому времени он хорошо ориентировался в закулисной жизни своего города, был искушён в плотской любви, начал зарабатывать деньги, но сердце его молчало. Он даже уверил себя, что любви нет на этом свете, и все красивые сказки про неё пишутся ради привлечения читателя и хорошего гонорара.

А сегодня он вдруг понял, что всё, что происходило с ним в последнее время, оказывается, и есть любовь... или влюблённость... Удивительно, но он не мог сказать, что ему нравилось больше – сама Айла или тот внутренний полёт, который вызывало её присутствие. К вечеру позвонил Алекс.

– Слушай, друг, сегодня у нас встреча с тремя подружками на бульваре. В семь будь в нашем кафе, закажи что-нибудь лёгкое, а я подойду с ними.

– С какими подружками?

- Запоминай – Айла, Джейла и Шейла. Здорово имена подобрались, да?
- Это с ней? – холдея, спросил Риад. – Я не смогу...
- Ты псих? Я сегодня полдня старался ради тебя, уламывал их на свидание, а ты отказываешься?
- Алекс, я правда не смогу... У меня ноги немеют, когда она близко, и голова плывёт. Я вообще могу умереть... Погибнуть...на заре жизни...
- Риад! Не дури, в семь в кафе. Всё! – и друг дал отбой.
- В шесть часов Риад зашёл в кафе, заказал уютный столик на веранде под чинарой, цветы девушкам и оставил задаток.
- Завтра расплачусь полностью, – сказал он знакомому официанту. – Алексу скажи, что я заболел и денег с него не бери. Но так... наедине, чтобы девушки не слышали...
- Официант кивнул и улыбнулся.
- Весь вечер Риад просидел на балконе, высматривая друга, будучи уверен, что тот обязательно зайдёт. Около полуночи он увидел на улице фигуру Алекса, направляющегося к его дому. Риад быстро спустился и уже в дверях подъезда столкнулся с ним.
- Ты сумасшедший! Я так тебя расписал – умница, красавец, комсомолец, а ты – трус!
- Тише, друг, давай во двор выйдем, здесь всё слышно.
- Во дворе Алекс протянул ему две фотокассеты.
- Вот возьми, это я девчонок нашёлкал, для тебя старался. Айлу больше всего снимал, надеюсь, она не решила, что я запал на неё. Прояви и распечатай для всех. Я был как на арене цирка весь вечер, даже на пианино играл и пел вместе с ними.
- Да? Там есть пианино?
- Представь себе, нашлось. Хотя я его раньше тоже не замечал.
- Алекс, спасибо тебе. Мне надо привыкнуть, всё так сразу... Я завтра сделаю фото и позвоню тебе.
- Фотографии получились действительно превосходные, Алекс умел выстраивать кадр. Несколько фото Айлы Риад сделал большого размера и оставил у себя. Остальные занёс другу.
- Слушай, какой я молодец, – восхликал Алекс, перебирая карточки. – Может, мне фотографией заняться? Посмотри, как здорово! Сейчас девчонкам позову. – Джейлочка, привет! Дома не ругали за позднее возвращение? Ну и славно. Ваши фото готовы. Знаешь, супер получились! Сегодня будем ждать вас на том же месте в тот же час и в прежнем составе. Риад уже выздоровел, тоже будет... Что ты говоришь? Сегодня уже улетает? Ах, как жаль! Ну, тогда вдвоём приходите... Всё, лады, ждём.
- Алекс положил трубку и сказал, обращаясь к Риаду:
- Айла сегодня с родителями улетает. Такой шанс упустил, чувак! А сегодня пойдешь в кафе?
- Конечно, – сказал повеселевший Риад. – Надо же отметить окончание курса.
- Всё лето Риад рисовал. Сначала он долго смотрел на фотографии Айлы, любуясь ею. Потом попробовал изобразить её шариковой ручкой на тетрадном листочке в клетку, в конце концов, зашёл в магазин для художников, купил специальную бумагу, угольные карандаши и уже профессионально, как ему казалось, стал рисовать её портреты. С каждым новым рисунком она становилась всё более и более похожей и всё более прекрасной. Тонкое подвижное лицо, высокий лоб, изящный восточный нос с лёгкой горбинкой, пухлые детские губы, родинка над левой губой, копна густых волос... А глаза Риад прорисовывал в последнюю очередь. Длинные чёрные ресницы прикрывали их глубину, придавая взгляду таинственность и обещание... Однажды в его комнату неожиданно зашёл Алекс, и Риад не успел спрятать рисунок. Друг внимательно и долго смотрел на портрет, потом задумчиво произнёс:

– Я понял сейчас две вещи. Первая – красота действительно в глазах любящего. Вторая – у тебя талант, дорогой! Что ты раньше не рисовал?

Риад улыбнулся.

– Повода не было.

Первого сентября в понедельник начался последний учебный год в консерватории. Риад увидел в коридоре Алекса, болтающего с тремя подружками, и подошёл к ним.

– С праздником знаний!

Одна из девушек игриво воскликнула:

– О, Риад! Друг Алекса, который сначала заболел, потом распечатал нам фотки, а затем устроил потрясающую вечеринку на бульваре!

– Он самый, – улыбнулся Риад и посмотрел на Айлу. Но в этот момент она, отвернувшись, махала кому-то рукой. «Всё, – решил для себя парень. – До конца этой недели я признаюсь ей и... сделаю предложение!»

На выходе из консерватории Риад увидел дядю.

– Привет! Какими судьбами? Что ты тут делаешь?

Дядя засмеялся:

– Выполняю маленькое, но ответственное поручение.

– И как?

– Уже выполнил, всё нормально! Пошли к вам, я страшно проголодался, вместе пообедаем.

В пятницу, собрав всё своё мужество, смелость, храбрость и решительность, уняв дрожь в теле и слабость в ногах, Риад после занятий подошёл к Айле. Она ждала своих подружек на скамейке во дворе, и парень присел рядом.

– Айла, я люблю тебя и прошу стать моей женой, – выпалил он и посмотрел ей в лицо.

От неожиданности девушка вздрогнула, потом надменно прищурилась, оглядела парня с головы до ног и с презрением произнесла:

– Ты себя в зеркало видел? Нет? Иди посмотри внимательно, жених! Со свиным рылом да в калашный ряд! – она фыркнула, гордо поднялась, откинула на спину не послушные волосы и, не оборачиваясь, пошла к двери института.

Как долго Риад просидел на скамейке, пережиная мучительную боль в груди, как долго он потом шёл домой, как долго поднимался по лестнице на третий этаж, – он не помнил. Отец уже был дома. Он позвал сына в гостиную, закрыл дверь и сказал:

– Сын, я всё знаю про эту девушку.

– Уже? – парень в изумлении поднял глаза. – Откуда?

– Ты думаешь, такую кипу портретов можно скрыть в нашей маленькой квартире? – улыбнулся мужчина. – Дядя всё узнал про Айлу. Она из хорошей семьи. Если хочешь жениться, мы посватаем её. И, как говорится, совет да любовь!

– Это уже не актуально, отец. Я рожей не вышел для их хорошей семьи. Тема закрыта.

– Подожди, объясни толком, что произошло?

– Ничего. Тема закрыта, все остались при своих, – с горечью произнёс парень и, чтобы скрыть слёзы, быстро вышел из комнаты.

Он заперся в ванной и внимательно стал разглядывать в зеркале своё лицо. Нормальное лицо, не Ален Делон, но и ничего от свиного рыла. А усы, которые он отпустил за лето, так и вовсе роскошные... Да причём тут лицо! Причём тут зеркало! Он же **ЛЮБИТ** её! И будет любить всегда! И сможет сделать всё, чтобы она была счастлива. Это его девушка, почему же она не поняла этого? ...Может, ещё раз попробовать? Но невыносимая боль снова поднялась в груди, скжала горло, и парень отступил – нет, так нет!

*Будь так умна, как зла. Не размыкай  
Зажатых уст моей душевной боли.  
Не то страданья, хлынув через край,  
Заговорят внезапно поневоле.*

*Хоть ты меня не любишь, обмани  
Меня поддельной, мнимою любовью.  
Кто доживает считанные дни,  
Ждет от врачей надежды на здоровье.*

*Презреньем ты с ума меня сведешь  
И вынудишь молчание нарушить.  
А злоречивый свет любую ложь,  
Любой безумный бред готов подслушать.*

*Чтоб избежать позорного клейма,  
Криви душой, а с виду будь прям!*

В.Шекспир. Сонет 140

## 2

В свои тридцать пять лет Риад занимал солидную должность в мэрии своего города – начальник Отдела музыкальных учреждений. Большим музыкантом он не стал. Принял участие в трёх-четырёх всесоюзных конкурсах, занял места, далёкие от начала списка призёров, и решил строить карьеру в административной сфере. И это получилось у него весьма неплохо. Сейчас у него был уютный кабинет, милая секретарша и власть решать многие музыкальные вопросы, в том числе и назначения на определённые должности. В тот майский день в его кабинет вошёл посетитель – высокий худой мужчина в дорогом светлом костюме, который висел на нём, как банное полотенце на крючке. Он протянул руку и представился. Риад пригласил его сесть в кресло и сам устроился напротив.

– Чем могу быть вам полезен?

– Дело в том, что последние пять лет я служил советником в нашем посольстве в Египте. Естественно, моя семья жила со мной. Жена не работала, у нас были маленькие дети. В настоящее время меня перевели в министерство, – он назвал должность, – и какой-то срок, думаю лет пять-шесть, мы будем жить здесь. Дети подросли, и жена хочет работать. Она окончила консерваторию, даже концертировала немногого, но потом замужество и отъезд. Я пришёл к вам с просьбой. Я был бы вам признателен и весьма благодарен, если бы ей досталось какое-нибудь вакантное место директора музыкальной школы.

– Скажите, у вашей жены есть какой-нибудь опыт работы на подобной должности?

– Нет, я же сказал вам, мы долгое время жили за границей.

– То есть опыта работы у неё совсем нет?

– Практически нет.

– И вы предполагаете, что она справится?

– Не боги горшки обжигают.

– Насчёт горшков верно. Но мы говорим о детях и музыкальной школе.

– Я же сказал вам, что моя благодарность будет соответствующей.

– Это не мое дело, простите, а в МИДе так же назначают специалистов?

– Это действительно не ваше дело, – жёстко ответил посетитель.

– Согласен. Далее, мне необходимо поговорить с вашей женой, ведь это она хочет работать, не вы.

– Она зайдёт к вам завтра. Если вам удобно, в одиннадцать часов.

– Мне было бы удобней в девять утра, – Риад решил немного сбить спесь с дипломата.

– Хорошо, остальное обсудим после интервью, – и посетитель вышел, слегка кивнув ему.

– Ах, какая цаца, интервью! – разозлился Риад и вызвал секретаршу. – Завтра в девять придёт женщина, подержи её в приёмной минут двадцать-тридцать, без чая и кофе. – Секретарша кивнула и вышла, а Риад сел за рабочий стол, почему-то недовольный собой.

Утром в 9.00 он включил громкую связь:

– Ко мне есть посетители?

– Да, вас ожидают.

– Пожалуйста, извинитесь. У меня неожиданное селекторное совещание. Думаю, минут через пятнадцать-двадцать я освобожусь.

Через двадцать пять минут Риад в третий раз закончил перебирать бумаги на столе и пригласил посетительницу, учтиво встав ей навстречу. В кабинет вошла женщина в ярком цветном костюме. Риад даже не успел разглядеть её, как у него неожиданно сильно сжалась сердце, а по груди разлилось чувство тоски. «Что за странность? Что со мной?» – подумал мужчина и внимательно посмотрел на посетительницу. Женщина была примерно его лет, среднего роста, с фигурой, расплывшейся то ли от изобильной еды, то ли от неподвижной жизни. Полные руки с дорогими кольцами на пальцах, длинные толстые ноги в босоножках на высоком каблуке, восточный нос с лёгкой горбинкой, заплывшие щёки, полные губы с родинкой над левой губой... Родинка! Над левой губой...

– Айла? – восхликал он, поражённый её преображением. Женщина поняла его возглас по-другому.

– Да, это я, – кокетливо произнесла она, уверенная в неизгладимом впечатлении, которое произвела на прежнего воздыхателя.

Риад жестом пригласил её присесть, стараясь незаметно помассировать грудь под пиджаком, чтобы унять неожиданную боль. Айла подошла к креслу, слегка покачиваясь на каблуках и вызывая опасение за устойчивость грузной фигуры.

– Здравствуй, Риад! Я рада, что ты вспомнил меня, – медленно произнесла она, глядя прямо ему в глаза.

– Здравствуй...те...

– Почему так официально? Ведь когда-то...

– Ваш муж сказал, что вы ищете работу.

– Я не ищу, мне она нужна, и ты решишь этот вопрос.

– Директором школы не могу назначить, меня просто не поймут, даже за большие деньги. А если завучем?

– А что должен делать завуч?

– Судя по вопросу, с тем, что должен делать директор, вы знакомы, – съязвил Риад.

– Хватит выкать, давай перейдём на ты.

– Зачем?

– Чтобы было проще договориться.

– Хорошо. Завуч тебя устраивает? – медленно, подстраиваясь под её тон, спросил мужчина. – Что делать, тебе объяснят более опытные товарищи. А о том, какие документы необходимы, расскажет моя секретарша.

– Красивая девушка. Ты с ней спишь?

– Твой вопрос переходит границы дозволенного.

– Да ладно. Помню, после моего отказа ты переспал со всеми моими подругами. Они столько рассказывали о тебе. И я тогда решила, что правильно сделала, что послала тебя подальше – зачем мне бабник?

– Кажется, ты не поняла ничего. Ни тогда, ни сейчас.

– Что не поняла? Я ничего не потеряла – у меня муж дипломат, я упакована по всем статьям, хорошие дети, видела мир. А ты дорос только до этого кабинета. Даже музыкантом не стал. – Риад промолчал. – Итак, мы договорились – завуч?

– Договорились. Я отдам все распоряжения, а ты принесёшь свои документы.

– Сколько стоит должность директора, нам приблизительно сказали. А сколько должность завуча?

– Тебе это не будет стоить ничего. Мой подарок, – Риад почему-то ненормально ухмыльнулся.

– Я поняла, никаких денег. Значит, другое, – Айла тяжело поднялась с кресла, поднялся и мужчина. Женщина медленно приблизилась к нему, встала почти вплотную и начала не спеша расстёгивать блузку.

– О-ля-ля! – присвистнул Риад, – ты хочешь расплатиться здесь и сейчас?

– А чем это место хуже других? И зачем тянуть? Я не люблю быть в долгах, – она протянула руку к вороту его рубашки. Риад перехватил её и жёстко сказал:

– Я благодарен тебе, что ты тогда отказалась от меня.

– Благодарен? Почему?

– Во-первых, потому, что я мог бы сейчас оказаться на месте твоего мужа, которому жена наставляет рога.

– А во-вторых? – зло произнесла женщина.

– Ты себя в зеркало видела? Из калашного ряда да в свиное рыло!

Айла резко выдернула руку, развернулась и пошла к выходу, покачиваясь на высоких каблуках. Риад распахнул перед ней дверь и сладким голосом сказал:

– Ханым, подойдите к моей секретарше. Она вам скажет, какие документы необходимы. Приказ будет готов уже завтра. Желаю вам удачи на новом месте.

Мужчина закрыл дверь, опустился в кресло и, потирая область сердца, пытался понять: как его тело среагировало раньше, чем он успел узнать Айлу? Среагировало точно так же, как много лет назад на скамейке во дворе консерватории – невыносимая боль поднялась в груди, скжала горло и тоской разлилась по телу... Любил ли он Айлу? Да, ту юную девушку, которую он сотни раз рисовал, проникая в её душу и думая, что понимает её... Он вспомнил мультфильм, который видел в детстве: там ведьма превращалась в красавицу, а потом снова становилась старой и страшной... Риад засмеялся, и боль неожиданно прошла.

*Мои глаза в тебя не влюблены, –  
Они твои пороки видят ясно.  
А сердце ни одной твоей вины  
Не видит и с глазами не согласно.*

*Ушей твоя не услаждает речь.  
Твой голос, взор и рук твоих касанье,  
Прельщая, не могли меня увлечь  
На праздник слуха, зренья, осязанья.*

*И все же внешним чувствам не дано –  
Ни всем пяти, ни каждому отдельно –  
Уверить сердце бедное одно,  
Что это рабство для него смертельно.*

*В своем несчастье одному я рад,  
Что ты – мой грех и ты – мой вечный ад.*

В.Шекспир. Сонет 141

### 3

Риад медленно двигался на своём громадном джипе в городской пробке, направляясь в детский сад за внуком. Два часа назад дочь попросила забрать его, так как у неё на работе случился какой-то аврал.

– Папа, пожалуйста, забери Риада. Муж тоже не может, он в море. А вечером я сама заеду к вам за ним.

Когда родился этот мальчик, дочь спросила:

– Папа, можно мы дадим ему твоё имя? Фамилию не получается, но мне так хочется, чтобы он в чём-то походил на тебя – ты такой красивый и умный, такой талантливый, и я очень люблю тебя.

– За таланты?

– Нет, просто люблю – ты мой папа.

Естественно, Риад согласился. И этот мальчик стал его любимцем.

Риад ждал внука в уютном дворике детского сада, приготовив киндер-сюрприз, который мальчик любил за смешные неожиданности внутри шоколадного яйца. Внук вышел из двери за руку с симпатичной девочкой.

– Дед, это моя невеста, знакомься. Её зовут Айла! – Риад поперхнулся, но, спрятавшись, протянул девочке руку.

– Ты очень красивая.

– Меня назвали, как бабушку, вон она идёт, – и малышка показала на дверь. Из неё выплывала грунная постаревшая Айла, давно перешагнувшая стокилограммовый рубеж.

– Пока, детка, до завтра, мы спешим, – сказал Риад и, не желая встречаться с прошлым, взял внука за руку и быстро пошёл к машине. Но мальчик вырвался, побежал к подружке, чмокнул её в щёчку и закричал на весь двор:

– ЧАО-КАКАО, АЙЛА! Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! – потом, догнав деда, уверенно зашагал рядом. – ЖАЛЬ, ДОЛГО ЖДАТЬ, КОГДА ВЫРАСТУ. А ТО БЫ МЫ СЕЙЧАС ЖЕНИЛИСЬ.

У дверей автомобиля Риад-старший обнаружил у себя в руке киндер-сюрприз, который уже изрядно подтаял. Он протянул его внучке.

– Ну, дед, как ты забыл про него? Теперь шоколад весь размажется. А, это из-за Айлы? Знаешь, я тоже всё забываю, когда вижу её.

По дороге домой мальчик осторожно разворачивал конфету, чтобы добраться до игрушки, а дед размышлял. «Через много лет его внук и её внучка ходят в один и тот же детский сад. И именно его внук влюбляется в её внучку. И зовут их так же, как и их, – Риад и Айла. Что это – случайность? Или это какой-то неведомый закон бытия – всё, что деды не сделали, внуки доделают?»

Размышления мужчины прервал возглас мальчика:

– Дед, смотри, какая свинка! – он, наконец, освободил игрушку из яйца и протягивал ему.

На ладони мальчика лежал маленький смешной поросёнок. Риад рассмеялся:

– Со свиным рылом да в калашный ряд!

– Что ты сказал, дед? Я ничего не понял.

– И не надо понимать, дорогой! Это уже не твоя сказка.

*И долго мне, лишенному ума,  
Казался раem ад, а светом – тьма!*

В.Шекспир, из сонета 147

# **НАШИ В АМЕРИКЕ**

## **Интервью с известным дизайнером Сан-Франциско**

### **( Натали Таран ( в девичестве Гасановой ) )**

Был последний день пребывания нашей семьи на земле родного города Баку. Мы уезжали, как нам тогда казалось, на три года, на место моего контракта работы в Россию. Конечно, я должен был встретиться с приятелем, сотрудником нашего треста, начальником КБ Ильей Таран. Мы долго беседовали о превратностях наступивших событий в стране и обсуждали планы дальнейшей стабилизации жизни наших семей. Тогда мы еще не знали, что расставались навсегда – все было как бы не в настоящем времени. Как в кино.

Уже спустя пятнадцать лет, в Америке, я случайно наткнулся на сайте Facebook на страницу некой молодой женщины Наташи из Калифорнии. Меня привлекла разнообразная экспозиция интересных картин, бижутерий, цветочных букетов и прочих украшений. Все было сделано со вкусом и изяществом – хотелось все это великолепие иметь у себя дома.

Но вдруг, что это за видеосъемки и фото? Они, как две капли воды, похожи на «нашу» Торговую улицу, на «нашу» Консерваторию, Театр оперы и балета, здание Академии наук ...

Граждане! ...Да это же ...наш Баку! И подпись такая знакомая... Таран!

#### **– Каким вы помните свое советское детство?**

– Мое советское детство, как и у многих ребят, можно сказать, было счастливым.

Мы находили время для уроков и игр во дворе. Это и «классы», «прыгалка», прятки. Словом, как у всех.

Я, помимо общей школы, ходила также и в музыкальную школу при клубе Дзержинского, где учились дети военнослужащих.

#### **– Чем увлекались в девичестве?**

– В свободное время я любила рисовать. Эта любовь к рисованию, видимо, переросла в потребность к творчеству в целом.

Позже, когда я сидела дома с детьми, стала вышивать, тогда это было модно. Это тоже рисование, но не на бумаге, а на материале. А поскольку у меня все хорошо получалось, то в дальнейшем это стало прибавлением к семейному бюджету.

#### **– Учеба по музыке была инициативой родителей или у вас проявлялись какие-либо способности?**

– В то время посещать музыкальную школу было хорошим тоном воспитания детей. К тому же, я всегда любила любую хорошую музыку и посещала как концерты классической музыки, которые проходили в консерватории и филармонии, так и эстрадные концерты,

#### **– Чем планировали заняться после учебы?**

– После окончания музыкальной школы планировала продолжить учебу. Однако повреждение связок руки остановило процесс музыкального образования. Пришлось поступать в Московский заочный кооперативный институт. Окончание института привело меня на работу во Внешторг.

**– Как произошло знакомство с будущим супругом?**

– Как и положено молодым: неожиданно, в нужное время, в положенный час!

А фактически встреча произошла прозаично: мы в одно и то же время ездили на работу на электричке в Кишлы. Там была база Внешторга и работа Ильи. Мы долго переглядывались, пока не поняли, что нам просто необходимо только познакомиться, что мы, в конце концов, и сделали.

Так и движемся по дороге длиною примерно в 40 лет.

**– Как отреагировали ваши родные на сватовство иудея?**

– Если вы помните, в Баку браки между гражданами разных национальностей были довольно обычным явлением. Поэтому мои родители приняли мой выбор супруга лояльно и без нравоучений. Этим и отличалась нация «бакинцы».

**– Согласен с вашей аргументацией! Это было время интернациональных отношений. Как вы думаете, увлечение дизайном – это хобби или профессия?**

– Украшения всегда были моей слабостью, а делать их своими руками и по своему вкусу – это просто здорово. Я училась в колледже, где изучала работу по серебру и меди, а также огранку камней.

Как-то на Facebook нашла группу по рисованию акриловыми красками в технике POUR, и меня это заинтересовало, получалось неплохо.

Когда в руки попадают холст и краски, то забываешь обо всем.

От POUR я перешла к абстракции.

– Кто был инициатором отъезда в Америку?

– Как только появилась возможность уехать в Америку, мы с супругом совместно решили, что «надо ехать». Подали документы и в 1991 году уехали в Калифорнию.

– Что вас не устраивало в повседневной жизни на Родине?

– Наступили непростые времена, шел 1990 год, школы были закрыты, на улицу опасно выходить, началась перестройка, в стране происходила бесконечная неразбериха. Отсутствовала гарантия спокойной мирной жизни.

Необходимо было воспитывать детей в безопасных условиях.

**– Как прошло становление в США? Что вы отметили бы в улучшении семейной жизни в США?**

– Поначалу, конечно, было трудно. Надо было освоить язык, найти работу.

Потом все как-то утряслось, со всем разобрались. Супруг устроился по специальности в престижную фирму. Я сначала работала в магазине и одновременно изучала английский язык в колледже. Затем, освоив язык, устроилась в банк и проработала, пока он не закрылся спустя 20 лет. Это не был банк, где выдают деньги. Там создавали кредитные карты, а я тестировала их.

Разумеется, я без помех продолжала заниматься разными хобби.

Это было и составление букетов из живых и искусственных цветов, и создание ароматического мыла, персональных больших открыток и женских украшений.

**– Вы получили удовлетворение от развития собственного взгляда на дизайн? Как общество приняло ваше творчество?**

– Это прекрасное самовыражение на холсте, и вариантов множество. Летом яучаствую в ярмарках-фестивалях, множество работ было продано в отели, рестораны и офисы крупных учреждений.

Мои работы есть на Инстаграм, где меня находят галереи и приглашают выставлять работы...

Очевидно, чтобы быть узнаваемой в творчестве, необходимо чаще принимать такие приглашения. Ведь реклама — двигатель искусства!

**— Как вы оцениваете новый дизайн архитектуры Баку?**

— В 1998 году поехала повидать родителей. Много новых современных, высотных зданий, построенных среди одно-двухэтажных, улицы однообразно переименованы, город местами было трудно узнать.

Была разочарована, и это уже не мой город. Но ничего не стоит на месте, в том числе и градостроительство.

Был древний город — стал теперь, как все, современный.

Мне кажется, что многие, исторически значимые дома все же стоило оставить.

Очень жаль, что нет сада 26 бакинских комиссаров, это наша историческая память о тех далеких годах, которые были в нашей истории.

**— Остались ли друзья или коллеги по творчеству в Баку, и имеете ли вы с ними какую-либо связь?**

— Конечно же, я контактирую с одноклассниками и друзьями из Баку. Они регулярно посыпают мне информацию о своих событиях в жизни. Особенно меня радуют извещения о культурных мероприятиях, происходящих в музеях и на сценах театров.

**— Что вы посоветовали бы архитекторам по заново отстраиваемым освобожденным городам, пострадавшим от оккупации? Что необходимо предусмотреть в строительстве в первую очередь?**

- Мне кажется, что в сельской местности не стоит увлекаться строительством высотных зданий, три-четыре этажа — это самое рациональное число этажности. В дизайне районного центра необходимо учитывать рельеф местности и исторические особенности данного региона.

Хорошо бы входную арку города разукрасить местными орнаментами.

**— Каким вы видите Азербайджан будущего?**

— Победа Азербайджана во второй Карабахской войне является одним из самых больших достижений, страна вернула свои законные земли.

Наконец-то установлен мир и покой!

Желаю Азербайджану всяческого процветания!

**— Хотелось бы вам вернуться в такой обновленный Азербайджан?**

— А вообще, очень хочется приехать в Баку и еще раз вдохнуть знакомый запах моря, нефти и цветов. Увидеть своими глазами все то новое, старое и прекрасное, что мы, бывшие бакинцы, оставили и по чему очень скучаем. Мы все следили и переживали за наш народ в период карабахского конфликта. Хотелось бы увидеть Карабах в строительных лесах, а его жителей — с радостными улыбками.

**Интервью вел писатель и публицист Марк ВЕРХОВСКИЙ**

## **ГЮЛЬШАН ТОФИКГЫЗЫ**

### **Р А С С К А З Ы**

#### **Стражник Аурангзеба**

Отравившись нахимиченной клубникой, моя дочь попала в токсикологическое отделение Центральной клинической больницы. Мы привезли ее туда, едва дышащую, покрывшуюся безобразными красно-бурыми пятнами и зловещей сыпью по всему телу. Все были страшно напуганы и не отходили от нее несколько дней ни на шаг. Но, слава Богу, усилиями врачей и наших кошельков, опорожненных в «коктейли» и капельницы, все обошлось. И теперь она все больше настаивала на выписке, просила забрать ее домой, хотя внешне еще напоминала политый уксусом мухомор.

– Ну, пожалуйста, заберите меня отсюда, – ныла дочка, обещая дома добросовестно принимать все лекарства и держать строгую диету. – Нет больше сил терпеть эту Монсеррат!

«Монсеррат» – девица, укушенная ядовитой змеей и привезенная в Баку две недели назад из Барды. Родственники, оставив ее в больнице и убедившись, что опасность миновала, уехали и с тех пор не навещали девушку. Сказали, что заберут, когда окончательно выздоровеет. Приезжать часто в такую даль, ясное дело, накладно. Вот она и скучала на больничной койке, листая дочкины журналы, восторженно комментируя иллюстрации и красочные фотоэтюды с условно одетыми мужчинами и женщинами – под предположительно южными небесами. При этом она умудрялась напевать сложенную самой песню: «*Никто не подобает гвоздя В мою подкову-у-у-у!* *Никто не посыплет соли В мой пло-о-ов!* *Никто не даст ячменя Моему ишаку-у-у!* *Никто не нальет воды В мой каза-а-а-ан!* Ох, змея, змея-а-а-а, Ты не тело мое отравила-а-а-а. Ты мне всю жизнь отравила-а-а-а! Почему назвали меня Гаратель? Лучше бы назвали Гарагю-у-у-ун!» Конечно же, песня была не серьезной, и соседка по палате вовсе не хотела докучать изнеженной горожанке. Наоборот, пыталась ее развеселить. Но больничный фольклор бардинки не производил впечатления на мою дочь и лишь раздражал однообразием тематики. Хотя эпитеты были красочны, и посетители смеялись до упаду над образами, создаваемыми жизнерадостной деревенской девушкой. Другая ее песня была полной противоположностью предыдущей: «*Ай, спасибо тебе, змея, Ай, спасибо тебе, благодетельница!* Где бы я так отдохнула, Если бы не ты? Когда бы я приехала в столицу, Если бы не ты? Когда бы я так наедалась и напивалась, Если бы не ты? Укуси меня еще раз, милая!»

Не без таланта девица, ничего не скажешь! За день до выписки моей дочери бардинку, наконец, забрали родственники, приехавшие в Баку по своим торгово-рыночным делам. Заодно, так сказать, и ее прихватили. Она уезжала скорее с сожалением, чем с радостью, возвращаясь к привычной и трудной деревенской жизни. Моя дочка, к удивлению, тоже загрустила. Без девушки-певуньи в палате стало тоскливо. Уже стемнело, когда мы собирались уходить, складывая в пакеты не нужные в связи с грядущей выпиской вещи.

– Осторожнее, вот так, – поправляя подушку и простыню, приговаривала сашитарка, устраивая на освободившейся койке девушку, переведенную из реанимации. Там она провела два дня. Девушка была бледная до прозелени, с абсолютно бескровными губами и черными кругами вокруг глаз. Ее звали Мехин.

– Теперь все будет хорошо, – утешала медсестра двух заплаканных женщин. –

Еще смеяться будет над собой, глупышка. А жестокости и бессердечию скоро и сама удивляться перестанет. Жизнь научит.

Капельница медленно выплакивала содержимое литрового флакона в вену Мехин. Сейчас она спала, и мать, молодая еще женщина, утомленная страхом за жизнь дочери, поведала нам о происшедшем. Мехин встречалась с одним парнишкой. Любовь у них была. По крайней мере, дочь в это верила. Но родители того парня, Ильгара, категорически воспротивились их браку. У них на заметке была другая невеста, родственница-землячка. Ильгару и Мехин пришлось расстаться, и вскоре он женился на той, которую назначили ему в жены родители. Мехин долго переживала эту разлуку. Но жизнь не стоит на месте, и она дала согласие выйти замуж за сватавшего ее дальнего родственника. Он, хоть и гораздо старше нее, но очень достойный и хороший человек. Как надежный спутник... Словом, сыграли свадьбу. Но после свадьбы жених повел себя как-то странно: спать ушел в другую комнату, с невестой был хоть и вежлив, но холоден. А через несколько дней протянул ей записку.

– Читай, – подавляя гнев, сказал он. – Я ждал и думал, ты сама все расскажешь. Я бы простил... Но обмана не потерплю. Месяца через два разведемся, чтоб не было пересудов. Я все-таки не хочу портить тебе жизнь. Ты молода, еще устроишься, а мне лживая не нужна.

Ничего не понявшая, Мехин стала читать записку. Она была короткой, уничижительной и заканчивалась словами: «Я сливки слизал, а ты молоко лакать будешь».

– Но это неправда! – возмутилась девушка.

– Ты говорила, что у тебя никогда не было любимого человека. А это тоже оказалось неправдой...

– Прости... Разве это так важно? Все давно прошло.

– Как видно, не все...

Девушка была в шоке и не нашла ничего лучшего, чем наглотаться на ночь какой-то гадости в пилюлях. Едва спасли.

– Что теперь будет? Какой позор! – стенала мать. – Хорошо еще, жива осталась, ласточка моя. А каковы мужчины! Мразь – один хуже другого. Ни чести, ни достоинства!

Я слушала и думала, что медсестра права: придет время, и Мехин будет сожалеть о своем поступке, чуть не стоившем ей жизни. А еще я думала о понятии **«мужская честь»**. Что это? В чем она проявляется? В отказе от отступившегося любимого человека?

\*\*\*

Принцесса Умай-ун-Ниса стала седьмой женой Аурангзеба, наместника Тамерлана в одном из индийских вилайтов. Дожидаясь церемонии бракосочетания, она долгие дни и вечера проводила у окошка своих покоев, которые выходили в чудесный сад, пьянящий ароматом жимолости. Вход в сад охранял молодой стражник, воин с безукоризненной репутацией верного, отважного и правдивого слуги. Не зря повелитель доверил ему охрану юной принцессы. Другие подданные даже потешались над его чрезмерной правдивостью.

– Ложь – дорога к бесчестию, – отвечал на их насмешки юноша. – Даже маленькая ложь может стать причиной большого позора.

Но случилось так, что принцессе Умай-ун-Нисе приглянулся красивый и статный стражник, и она стала оказывать ему знаки внимания. Как трудно устоять перед огнем черных очей, когда дурманящий аромат жимолости наполняет ночной воздух, а молодая кровь закипает, как лава в недрах вулкана! Тот стражник носил на груди длинный вы虬щийся черный волос принцессы Умай-ун-Нисы, который украдкой снял с колючего розового куста. Этот волос жег грудь и распалял сердце, когда принцесса, принимая из его рук цветы, касалась пальцами ладони.

И вот однажды, в канун свадьбы правителя и Умай-ун-Нисы, Аурангзеб вызывает к себе молодого стражника.

— До меня дошли некие слухи, — сверкая гневным взором, начал он. — Но я верю тебе и хочу услышать правду. Ведь ты правдив, не так ли? Ведь ты считаешь ложь бесчестием, не так ли? Вот и ответь мне: обреку ли я себя на бесчестие, сделав своей женой Умай-ун-Нису. Правдивы ли слухи о ее внимании к тебе? Ты храбрый воин. Я не стану тебя убивать. Просто накажу. Но, если это правда, принцесса будет казнена, как того требует закон.

Холод пробежал по спине стражника. Но был это не страх за себя, а страх за жизнь Умай-ун-Нисы. Если он скажет правду, ее предадут мучительной казни. Если же солжет — то мучительной казни подвергнется его душа, оскверненная ложью.

— Нет, мой повелитель, — твердо и холодно произнес стражник. — Принцесса чиста и достойна быть супругой Аурангзеба!

— Ты можешь поклясться?

— Вот моя клятва! — с этими словами стражник выхватил меч и одним махом отсек себе кисть левой руки.

Придворные ахнули, а правитель, приказав врачевателям унять кровь и перевязать рану, сердито продолжил:

— Зря ты это сделал. Ты лишил меня смелого и верного воина. Я бы тебе и на слово поверил.

— Ложь — дорога к бесчестию... — шепотом, который услышало лишь его сердце, промолвил стражник.

\*\*\*

Я рассказала эту историю, чтобы показать, чем способен пожертвовать настоящий мужчина, спасая честь и жизнь любимой. Тот стражник, спасая от бесчестия принцессу, солгал, что было для него неприемлемым. Но тут же наказал себя за ложь. Вот я и думаю, что бедняжка Мехин еще не встретила настоящего мужчину. А так хочется верить, что они были не только во времена принцессы Умай-ун-Нисы!

## **Я задушу вас обоих!**

— Изя? Ты нашел мне замэну? Не разбивай мое сэрцэ! Если так, то я задушу вас обоих своим роскошным тухэсом! Это говорю тебе я, Шимона Бен-Элайзер.

Потрясающий, неповторимый сленг тети Симы неизменно приводил в восторг соседей коммуналки и в трепет тщедушного Измаила Пейсаховича, лбом едва доходившего до необъятной груди своей супруги. Изо дня в день, долгих сорок лет повторялись предупреждения по поводу «разбитого сэрца». Бог мой, какая «замэн»?! Бедному Изе и в дурном сне не привиделось бы. Его на полтонны «Симочкиной страсти» едва-то хватало. Все за глаза так ее и называли «Полтонны страсти». Не знаю, сколько было страсти в громадном теле Симоны, но персоны колоритнее не было во всем дворе. Рыжая шевелюра в мелких бигуди, кроваво-алая губная помада, почти фиолетовый лак на ногтях, лилово-сизые румяна на всю щеку... На грудь можно было запросто поставить поднос с горохом — не просыплется. Сигарета на длинном мундштуке слоновой кости, зажатая между пухленькими указательным и средним пальцами, и изящно изогнутый мизинец с бирюзовым кольцом. Крупные оранжевые бусы (имитация янтаря) и коралловый браслетик на складчатом запястье. Все это многоцветие ложилось топографическими обозначениями на Симонин глобус, завернутый в голубое с коричневым шифоновое платье. Оно-то и уподобляло пышнотелую Симону гигантскому глобусу. Голубые океаны и коричневые острова.

– Изя? Ты опять лжешь мне, как твои предки фарисеи? – доносились порой из прихожей через неприкрытую дверь. – Бог Израиля воцаряется не только на горе Сион. Он все видит даже тут, на благословенном Абшероне. Ну-ка, посмотри мне в глаза! Почему ты не ешь? Почему ты сыйт? Кто накормил тебя? Нет аппетита? А что сделалось с твоей памятью? Софочка сказала мне, что в субботу ты не назвал в заупокойной имени моей бабушки. Разве светлая память Розалии Бен-Мойше уже не дорога тебе?

– Прости, мамочка, их так много, покойниц. Вероятно, упустил по рассеянности. Но ведь Софочка могла бы сделать это и сама, – оправдывался Измаил Пейсахович.

– Покойниц много, а бабушка Розалия одна! – всхлипывает Симона. – Или ты забыл Холокост?!

– Знаю-знаю. Не забыл. Как можно? Прости, мамочка.

– В эту субботу я сама буду в синагоге и «забуду» назвать имя твоего брата Мордехая!

– Не гневи Бога, душа моя.

– Бога? Ты вспомнил Бога? Ты пришел домой на час позже обычного. Признайся! Или я задушу вас обоих...

– ...своим роскошным тухэсом, – продолжал за нее Измаил Пейсахович. – Я встретил по дороге домой Мирона, племянника Оси. Немного поболтали, выпили пивка у Мухтара.

– Так вот почему у тебя не хватило денег отоварить мой список!

– У меня все равно бы не хватило денег. Это не список – это целый Талмуд.

– Не смей кощунствовать! Как можешь ты уподоблять перечень овощей священному писанию!

– Прости, мамочка, я не так выразился...

И так сорок лет. Но горе и радость скачут по жизни в одной упряжке. Когда Изя умер, казалось, не будет конца слезам Симоны.

– О, горе мне, горе! Почему ты так рано ушел от меня, Изя! Я не роптала бы за измэну, но лучше бы ты жил... – стенала безутешная Симона. – Изя, любовь моя, жизнь моя, сокровище мое!

Случилось так, что одно горе привело за собой и другое. Очень скоро скончалась от тяжелого недуга дочь Симоны Софочка.

– Бабушка, почему ты не называешь имя мамы в заупокойной? – спросила как-то в синагоге дочь Софочки Сарра и сама крикнула раввину с балкончика: – София Бен-Измаил!

– ...Бен-Иосиф... – тихо произнесла Симона. Сарра удивленно оглянулась на опустившую глаза Симону. – Бен-Иосиф, – повторила Симона. – Да, Сарра, сэрц мое. Бен-Иосиф...

## **МАРАТ ШАФИЕВ**

### **Краткая история русскоязычной бакинской поэзии**

*«И снова этот первый шаг  
из зыбкой колыбели сна...»*

В декабре 2016 года в своей аккуратной и аскетичной квартире Рафига Шукюрова рассказывает мне следующее.

Отца ещё подростком в начале 20-х годов прошлого столетия, спасая от армянских погромов, вывезли из Шуши во Владикавказ. Отец знал грамоту, арабский, позже стал директором школы и женился на своей ученице, младше его на 13 лет. Родились дети: дочь и три сына.

Ибрагим, которым я интересуюсь, уже в пять лет читал Гомера; отец просил библиотекаршу не выдавать ему больше книг: пусть поиграет на улице, разве можно всё время с книжками?

В 1972 году Ибрагим окончил факультет журналистики МГУ. В Москве познакомился с будущей женой – карачаевка Лейла училась в педагогическом. Текла патриархальная кавказская жизнь: дети – девочка и мальчик; сотрудничество с областными и республиканскими газетами – «Молодой коммунист», «Ленинское знамя»; аспирантура и защита кандидатской («Конфликт в сатирической публицистике»).

Монументальный разлом Империи прошёлся и по миллионам интернациональных семей. Ибрагим уехал в Баку, где уже обосновались отец и сестра. Жена за ним не последовала.

Спасала работа допоздна: в газете «Вышка»; в отделе агитации и пропаганды Президентского аппарата. Гасан Гасанов – непосредственный начальник, – став министром, забрал его в МИД.

Гейдар Алиев открывал миру Азербайджан, и сам Ибрагим, освещая эти поездки (1993 – 1997), открывал для себя мир: Турция, Великобритания, Китай, Америка, Иран, европейские столицы – всего не перечислишь, правда, всё вспыхах, мимолётно. Последнее место работы – заместитель редактора газеты «Бакинский рабочий». С кем бы я ни заговаривал, у всех при упоминании его имени светлели лица.

Жил он уже в так называемом Издательском доме на проспекте Метбутат. Главная ценность – книги. Две полки занимала фантастика. В кармане носил малоформатного Пастернака. Ахматову цитировал наизусть. Из любимых ещё – Уитмен, Лорка, Гумилёв, Борхес. Знакомство с личными библиотеками даёт представление о их владельцах.

Рабочие, изнывая от жары, крыли крышу. Он отнёс им воду, спускаясь по лестнице, оступился и сломал ребро. Началась онкология. Мучений больших не было, миодовцы доставляли дорогостоящий импортный препарат. Но и таял он быстро.

Друзья-журналисты тиснули книгу его стихов – «Тень птицы». Наверное, при его возможностях таких книг могло быть множество, но он всю жизнь был удивительно кроток. И в больнице, держа в руках единственную тощую книжицу (82 страницы), он всё равно был счастлив.

Умер Ибрагим 23 июля 2003 года – 55-летним. Была годовщина потери Агдама – он писал статью, но, заснув, утром не проснулся: «Уйду в траву улиткой и усну».

В тихом мерном голосе старшей сестры – боль о трёх безвременно ушедших братьях, не ставших её защитой.

«Он сам себе цену не знал», – это снова об Ибрагиме. Может, не знал, но знали близкие: и редактор «Вышки» Глушков, сам сочинявший стихи, оставляя пост, только Шукюрова видел своим преемником; и Мансур Векилов, с удовольствием печатавший его верлибры в журнале «Литературный Азербайджан»; и рассудительная Джейла, вдруг безоговорочно поверившая ему и не требующая обязательств.

Бродский уверял: у поэта выбор слов говорит больше, чем сюжет. «Фатальная смена узоров в калейдоскопе жизни, колдовство открытый, капризы превращений и рождений» – в ловле мгновений. Шукюрова, как и Набокова, восхищала не просто распятая на кончике булавки необыкновенная бабочка, а та тайна, которая подразумевалась за изощрённой красотой. Что ещё удивляет в его текстах – почти игнорирование сугубо городским жителем самого города и обретение Вселенной – Абшерона: «море вздыхает ветви соли и сини», «хаос скал, похожий на сны быков», «берег-скиталец бродит по хляби морской», «ящерица зелёной ртутью скатилась по камню». Из какой забытой жизни эти образы? А может, действительно была когда-то рыба, счастливо увернувшаяся от сетей и молний гарпунов, достигнувшая лунного затона и оставившая на сухом песке иероглифы своего похода? И внезапно разглядевшая в Великом Океане звёзд тень полёта – «зыбкий знак мечты»: «слить две стихии и две жизни/ свою и ещё одну свою».

## **Ибрагим Шукюров**

### **Ахиллесово пространство кожи**

*И год за годом город шил наряд  
твоей судьбы.  
Так что же вышло из-под суровых пальцев?*

*Невесомый лунный шёлк?  
Кусающая до крови власяница?  
Лохмотья короля  
иль нищего пурпурная накидка?  
Хитон из трав и листьев Диониса?  
Постыльные одежды узника или жителя гетто?  
Белые покровы?*

*Нет! Он, как ремесленник, упорно выделявал  
каждый миллиметр твоей кожи,  
чтоб стала она грубой, как кора,  
податливой и терпеливой, словно глина,  
выносливой, как шкура зверя,  
прожжённая пороховым тавром...*

*Но так надеюсь, что угрюмый мастер  
не забыл оставить ахиллесову полоску  
незащищённого пространства кожи –  
для губ любимой и касаний ветра,  
для лёгких пальцев света или тени!  
Для сокровенных слов и для молитвы,  
чтоб легче проникали в сердце.*

## **Абшерон**

Ветер сминает и распрямляет  
стальные полотнища пространств  
и засевает дикой солью камни.  
Суровой глиной вознеслись холмы,  
чьи лбы изранены терновыми венцами  
вышек.  
В провалах суши море –  
не зеркало залива, амальгама нефти,  
не плеск лазурных волн,  
а гул, идущий из глубин.  
Из недр свалки бивней, панцирей  
и трубных ревов.  
Абшерон под вечер, словно вздох  
отгрохотавшего вулкана,  
исторгнешь тишину и поведешь  
в свои сады, похожие на мастерские  
каменотесов.  
...И вот роса и звезды  
серебрят маслины,  
дома распахивают свои шафрановые  
души.

## **Осень на Абшероне**

Вздох желтой дали  
опаляет море.  
Обтрепанные ветви, листья, хворост –  
все свалено в костер.

Со дна мелеющего сада  
яснее видно небо.  
Акации прибрежья  
до синевы прозрачны.  
Песок –  
его готовность запечатлеть мгновенья  
наивна и мудра,  
он, как пергамент, вновь рожденный, чист,  
время нанести на нем след мимолетный  
времени.

Осень –  
место слияния трех далей –  
пустыни, неба, моря.  
Печальная пора сожженья  
мертвых лоз и корневищ...

Птицы крыльями сметают в море звезды.  
Осень то нитями дождей латает кровли,  
то золотит случайным солнцем  
горький дым костров.

## **Покинутые**

А теперь представьте пространство  
заставленное как статуями  
тенями несбывшихся  
так и невспыхнувших стихотворений  
осыпанное сухими листьями осени  
лишенное влаги разума  
и рук страсти  
одинокое и ржавое как забытая  
бритва обгоревшее и испепеленное  
как уголь сердца  
представшую иссохшую гроздь  
и кисти Христа  
мяч закатившийся под диван  
мальчика который ищет  
его все свое детство  
книгу всегда открывающуюся  
на одной и той же странице  
теперь вы увидели жилище  
в котором поселились я и Борхес.

### **«Счастья глоток... это много или мало?»**

Ровшан Сананоглу родился в 1956 году. Единственный ребёнок в семье (отец – Санан Мустафаев – первый ректор Строительного института) и типичный «ботаник» со своим замкнутым мирком: пятёрки по всем предметам, книги, математические задачки, позже музыка – в доме имелся музыкальный центр с колонками – невиданная роскошь для того времени. Когда отца назначили советником в Афганистан (с ним уехала и мать), он легко переносил одиночество. Отсюда и тяга его к противоположному полюсу бытия – героическому, ироничному скитальцу. Прозаические тексты его напоминают хемингуэевские: скучность сюжета и разговоры ни о чём.

От старого рока он постепенно пришёл к джазу. Ему повезло – Баку 60-70-х – один из самых продвинутых городов Союза в плане актуальной музыки – чего только стоит созданный здесь Вагифом Мустафаем «джаз-мугам», органичное вживление азербайджанских интонаций в классическую джазовую структуру. А любовь к джазу подразумевает и внутреннюю свободу адепта, у которого нарушение закона не вызывает душевного дискомфорта. Став по воле судьбы джазовым критиком, вот где он по-настоящему чувствовал себя в своей стихии: писал широкими и смелыми мазками, имея на каждое событие оригинальное мнение.

Он принимал непосредственное участие в организации Бакинского джаз-фестиваля, музыкального фестиваля «Золотая осень», Фестиваля барабанщиков и т.д.; его имя в музыкальном сообществе страны всегда ассоциировалось с кладезем энциклопедических знаний о джазе.

Закончил АГУ, аспирантуру. Тема диссертации: «Обратная задача теории рассеяния для оператора Шредингера с потенциалом, зависящим от энергии». С 1984 года работал в БГУ на факультете прикладной математики и экономической кибернетики. Первая книжица – сборник стихов «Сучье варево». В «Сегодня не твой день» (2012) смешались все жанры, а «Phrases» – издание посмертное, лучшие его афоризмы: «Жизненный путь: от постороннего до потустороннего», «Жизнь твоя будет измерена забвением», «Мы всё время стараемся смоделировать будущее – забывая о том, что и оно когда-нибудь останется в прошлом», «Грех не согрешить» ...

А вот образчик его эссеистики:

«Когда Саша Аnevский попросил меня написать вступительное слово к просмотру фильма «Ашик-Кериб», то вначале мне стало не по себе – всё-таки ранее моя сфера пристрастий ограничивалась (по большому счёту) джазом... к специалистам или хотя бы знатокам области кино я себя никогда не причислял. Конечно же, есть какие-то любимые фильмы – но чем-то выходящим за пределы экранного времени никогда не интересовался.

А потом я подумал: ведь фильмы снимаются не для критиков, а для зрителей – хотя и зритель бывает разный. И вот именно эта параджановская работа при первом же просмотре поразила меня больше, чем какой-либо другой фильм. Сначала я удивился тому, что фильм идёт на азербайджанском языке – с закадровым переводом на русский. Уже сам по себе этот факт достоин быть специально отмеченным – фильм снят в Грузии, режиссёр – армянин, исходный материал – произведение классика русской литературы, а речь – азербайджанская. Далее я увидел в фильме места, знаковые для каждого азербайджанца, – это и наша Крепость, и Девичья Башня, и Дворец Ширваншахов, и Голубая Мечеть, и Худаферинский мост, и Дворец Шекинских ханов... много чего. Потом зацепила музыка – во время первого просмотра я ещё не знал, кто написал музыку к фильму. Чуть позже сам фильм растворил меня в себе...

Уже после просмотра вступает в силу эффект последействия – и ты постфактум начинаешь смаковать свои ощущения... Понимаешь, что фильм фантастически красив – чуть ли не каждый кадр сам по себе является самодостаточной восточной миниатюрой. Понимаешь, что музыка органично вплетена в ткань картины... Вдруг приходит понимание того, что Алим Гасымов, голос которого звучит в фильме, в то время был малоизвестным музыкантом – а сегодня он выступает на самых престижных площадках (включая Карнеги Холл).

Но главное приходит потом... ты понимаешь, что этот фильм – о любви (Ашик – влюблённый), снятый человеком, который рассказал о своей любви к Востоку всему миру. Фильм, снятый Гражданином мира».

Самобытный, разносторонний, вечно ироничный, не признающий никаких авторитетов, а потому немного вздорный, педагог, писатель, поэт... Но какой при этом дружелюбный, весёлый, вечно окружённый толпой людей, умеющий дружить и общаться, обижающийся по каждой мелочи и тут же великодушно прощающий...

Вечно с сигаретой под прокуренными усами... Рано поседевший, витающий где-то в облаках...

Ровшан умер в 57 лет.

У него был острый панкреатит, операция состоялась, он нормально перенёс, от кликнулось очень много людей, крови собралось даже больше, чем требовалось, но кровотечение было настолько сильным, что не удалось остановить.

Две дочери проводили его под музыку You've Made Me So Very Happy – Ты сделал меня таким счастливым.

## **Ровшан Сананоглу**

\*\*\*

не кори меня,  
коль сделаю  
тебе – больно...

это вне меня,  
я над собой –  
неволен...

и не радуйся,  
когда сделаю  
больно – другой...

ведь я не твой,  
я вообще – ничей...  
я просто – такой...

\*\*\*

как все – пришёл я в этот мир нагим...  
как все, омыт живой водою был...

и просто жил, любил, гулял...  
и побеждённым был, и побеждал...  
иной раз – сдерживал себя,  
в другой раз – обладал...  
и пил не только воду,  
и смертные грехи –  
порой их тоже преступал...

я не итожу, нет...  
ещё я поживу.  
а бабки подобьёте вы –  
когда стечёт с меня  
с душою вместе  
мёртвая вода...

\*\*\*

спасите наши души –  
от нас самих...  
самих себя разбив  
на части...  
в попытках заново  
судьбу свою собрать...  
куски приладить так и сяк...  
мы собираем всё не так...

\*\*\*

счастья глоток...  
это много или мало?  
кто знает...  
а сколько тебе осталось –  
много или много?  
не знаю...  
есть всего лишь дорога...

дорога? к счастью?  
кто знает... может, к боли.  
может, в конце той дороги  
кому-то счастьем  
судьбу пропороли...

\*\*\*

убивают – любя,  
ненавидя – лечат...  
предают – шутя,  
мимоходом калечат...

я от вас устал –  
не сегодня, вчера...  
может, – раньше...  
но свой путь я пройду –  
и пойду – дальше...

## **Кто он – последний герой?**

Он рос болезненным ребёнком, оберегаемый семьёй, как комнатное растение. Один из верных путей в истинное будущее (а ведь есть и ложное будущее) – идти в том направлении, в котором растёт твой страх. Поэтому военная служба – это было зачёркивание уготовленного ему родителями благополучия. Такого вызова судьба ему не простила.

Не умея пить, он изображал выпивоху; матерился, краснея; жалея живое, стрелял и, кажется, убивал. «Достаточно оторвать человека от семьи, надеть на него мундир, дать в руки ружьё и ударить в барабан, чтобы пробудить в нём зверя», – Лев Толстой знал, о чём писал, в юности он сам стоял на севастопольских редутах, показно не кланяясь пулям и шрапNELи. Но человечество на протяжении своей истории так и не смогло избавиться от войны. И если какая-то страна не хочет воевать и кормить свою армию, она будет кормить чужую.

Интересно, читал ли он Николая Гумилёва? «И воистину светло и свято/ Дело величавое войны./ Серафимы, ясны и крылаты,/ За плечами воинов видны». И война обнаруживает в себе нечто трансцендентное. Готовность к самопожертвованию ради защиты близких по крови и духу людей от агрессора – это тоже нравственно.

От окончательного «зверя» спасали стихи. В древности право говорить стихами надо было заслужить и учиться у мастеров, как минимум, 12 лет. Даже в данном случае он проявил своеволие – заговорив от имени воинства, но, не найдя сочувствия в поэтическом цехе, вскоре стихи забросил. Действительно, стихи были неровные: высоты чередовались с провалами – но когда ему учиться? да и остались ли настоящие мастера? Поэтому и верлибр – жанр, не столь изощрённый и наиболее близкий к жизни, которая прозаична.

Вспоминается статья Ильи Эренбурга «Русский писатель» («Красная звезда», 12 января 1943 года): «В дни войны нам недосуг раздумывать о высокой тайне искусства: его основные элементы – страсть, самозабвение, смерть – представляются нам запросто, среди разрывов, ракет и звёзд».

Война – момент мобилизации скрытых ресурсов, в которых не нуждается мирная жизнь.

Ещё одна потеря? Хемингуэй однажды написал: «Все поколения были потерянными». Но в конце концов выясняется, что потерянных поколений не бывает, ибо Бог пишет на пергаменте каждой человеческой души. А в совершенном романе ни одна страница не оказывается ненужной.

А потом в голове лопнул сосуд, и Этибар Ахмед умер от кровоизлияния. Сорок лет – это даже ещё не возраст мудрости. Одно дело, подобно Сэлинджеру на пике славы, пытаться стать никем, но молодой Этибар Ахмед желал не пропасть, а стать подлинной жизнью, подобно тому, как капля воды становится Океаном. Пишут, чтобы не кануть в забвении, – но разве жизнь не лучший памятник самой себе?

Он создавал судьбу тем, что не создавал её. Теперь как-нибудь проживёт в легенде. И когда-нибудь та рубашка, та шинель, в которую он не влезал, окажется впору. Я уверен в этом потому, что Этибар Ахмед поднял тему, к которой в азербайджанской литературе мало кто посмел приблизиться. Назовите навскидку несколько имен поэтов-воинов – кроме Шаха Исмаила Хатаи, никто на ум и не приходит. По проторенным дорогам шагать легко, потому и упал, что выбранный им путь усеян не убранными камнями.

Не обременённый семьёй и поклажей – как известно, к звёздам шагают налегке.

О великих говорят как о родившихся рано, опередивших время. Этибар Ахмед родился поздно – он был бы своим в рыцарском средневековье. Тогда мыслили чуть холоднее, чуть равнодушнее, чуть мужественнее: *a la guerre comme a la guerre*.

Мне видится бредущее в пыли побитое рыцарство. Вышедшие из уютных домов бургеры швыряют в них корки хлеба и хохочут: где ваши роскошные перья, где ваши серебряные трубы? Гремя поражением, понурое войско пропадает в багровом закате.

Я кричу ему вслед: «Где величавое благородство, где неподкупная честь, где воспетая любовь?!»

В густой траве обронённый помятый щит вдруг сверкает золотым девизом: «*После тьмы – непременно свет!*»

## Этибар Ахмед

\*\*\*

тополя у дороги  
вздрогну  
показалось на миг что друзья  
не легли в земле  
а бредут вдоль дорог  
машут мне рукой  
и песни поют.

\*\*\*

В прифронтовом доме  
в зеркало глянул.  
Дырка во лбу.

\*\*\*

Вышли на дорогу  
встречать розовощёкую девочку  
явилась в грязи  
в крови  
вшами изгрызанная  
долгожданная  
незабвенная  
дорогая моя Истина.

---

## АЛИ БЕК АЗЕРИ

### Огъел

#### Рассказ

«Огъел» – это не прозвище и не кличка, это псевдоним.

Тогда мы учились в Харьковском высшем танковом училище, кажется, на первом курсе. В группе из тридцати человек нас было трое нерусских: армянин Миша Вартанян, грузин Нодар Думбадзе и я. Все остальные были русскими или украинцами. В принципе, коллектив наш был дружным и трудолюбивым, и мы не чурались никакой черной работы, иначе и не могло быть, ведь мы же учились на танкистов!

В основном здесь были крепкие и здоровые ребята, которые держали между собой дистанцию. Но временами Дронников и Вартанян задевали меня, бросая в мой адрес колкости, и я предупредил их обоих, чтобы они со мной не связывались. Ведь я был единственным мусульманином из «Солнечного Азербайджана», и во мне бурлила горячая кровь...

– Эй, «Огъел!»... – внезапно подозвал меня Дронников.

Это слово будто обожгло все мое тело, чувство обиды охватило все мое существо. Может, даже не само это слово, а сам Дронников, наглое поведение которого бесило меня. Сначала мне показалось, что он как-то неправильно выразился... Ничего себе! – подумал я про себя.

Ничего не говоря, я тихонько подошел к нему. Он стоял под вышкой вместе с другими курсантами, которые, глядя на меня, курили. Я подошел к Дронникову вплотную, пристально глядя в его хитреные глазки.

Увидев, что дело принимает серьезный оборот, он вдруг растерянно заулыбался. Его лицо напоминало мне жабу. Я изо всей силы ударил его кулаком по голове. От удара лицо его перекосилось, и он упал прямо на снег.

– Ох... ну ты и «Огъел!»... – это был уже другой курсант, Белоусов.

Но мне его слова уже были безразличны, и я пропустил их мимо ушей.

Крепкий и здоровый, Белоусов был старше нас на два года. Отслужив в армии, он решил продолжить свою учебу. Конечно, драться с ним мне было не под силу, но он хорошо знал, что со мной «шутить» не стоит.

Сжав кулаки, он медленно подошел ко мне и, глядя прямо в глаза, вдруг громко произнес: – Но ты... Ты настоящий «огъел!»

Он сказал это так громко, чтобы затеять со мной драку.

– Что ты себе позволяешь? – завопил вслед за ним курсант Кураченко. – Кроме себя, никого не замечаешь?

– Заткнитесь! – громко закричал я. – Лучше займитесь Дронниковым, кажется, он потерял сознание.

Дронникова тогда долго растирали снегом, пока он не пришел в себя. Затем его пришлось отвести в медицинский пункт.

Само слово «огъел» меня не раздражало. Раздражало то, с каким пренебрежением произносил это слово Дронников. У всех отчество заканчивалось на «ович», а у меня на «оглы». Сколько раз мне предлагали сменить окончание на «ович», уверяя, что весь Союз и даже среднеазиатские мусульмане приняли такое произношение, но я на это соглашался.

С того дня все стали называть меня «огъел», что в переводе на азербайджанский означало «оглы», то есть сын. Я был простым сельским парнем из горной деревушки, каких было тысячи. По окончании средней школы я поступил на учебу в танковое училище, которое находилось в городе Харькове. Будучи крепким и уравновешенным парнем, я умел крепко постоять за себя. Но по-настоящему драться меня научил Тарлан, парень, с которым я познакомился под Харьковом, на полигоне танкового училища. Он был родом из Хачмаза и служил механиком-водителем. Однажды увидев, как трое парней дерутся со мной, он немедленно разнял нас. Узнав причину драки, он отругал их и предупредил, чтобы они больше не подходили ко мне. После того случая мы крепко подружились, но когда он уволился из армии и уехал на родину, мы с ним больше не встречались.

Харьков – город индустриальный, больше половины населения которого составляла молодежь. И еще этот город являлся центром культуры, одним из пяти больших городов Советского Союза. В те времена, когда я там учился, а это были восьмидесятые годы XX века, в Харькове было более четырех миллионов населения.

Основное население города разговаривало на русском языке, так было легче общаться между собой. Несмотря на то, что во время Великой Отечественной войны немцы дошли до самого Харькова, там сохранилось немало старинных архитектурных зданий. В Харькове даже существовала улица Нариманова. Я думал, что улица была названа в честь прославленного сына азербайджанского народа Наримана Нариманова, однако потом, гуляя в один прекрасный воскресный день по городу, я узнал, что улицу так назвали в честь Наджафа Нариманова – сына Наримана Нариманова. Во время Великой Отечественной войны Наджаф был танкистом и героически погиб, защищая город Харьков. Я был горд этим, ведь я тоже был азербайджанцем и танкистом.

Однажды среди ночи меня разбудили. Открыв глаза, я увидел дежурного, который стоял возле моей кровати и ждал, пока я окончательно проснусь.

– Что надо? – спросил его я.

– Надо командира вызвать, – прошептал дежурный, чтобы никого не разбудить.

– Я тут при чем? Я же не посыльный?

– Быстрее одевайся, я тебе все объясню! – велел он мне и вышел.

Одевшись, я подошел к нему и потребовал объяснения.

– Пойми, посыльный командира болеет и находится в медицинском пункте, а ты являешься запасным.

– Почему же я об этом не знаю? – возразил было я.

– Это секретная информация. Ты не должен был заранее об этом знать.

– Этого не может быть! – не соглашался я. – Все расчеты каждый раз уточняются и доводятся до личного состава.

– Пойми! Кроме тебя, мне отправить некого.

– Так и скажи, – смягчился я.

– Командир живет отсюда недалеко. Но дорога к его дому проходит через кладбище. Сейчас полночь, транспорт не ходит. Придется тебе идти пешком.

Тогда я не знал, проверяют ли они меня на прочность или же действительно нужно идти к командиру. Взяв у дежурного табличку посыльного, я отправился к командиру. Дорога проходила через парк «Юность», затем вдоль маленького безымянного ручья, а далее через кладбище. После кладбища начинался новый жилой массив, где в одном из квартир пятиэтажного дома жил наш командир. В каком точно, я не знал.

Когда я нашел квартиру командира, его дома не оказалось. Жена очень удивилась и сказала, что муж сегодня ответственный за караул и поэтому его нужно исключить в училище. Я извинился и отправился обратно. Возвратившись в казарму, я обо всем сообщил дежурному. Я хотел, чтобы он объяснил мне, что происходит, но дежурный велел мне никому об этом не рассказывать и идти спать.

Мне было непонятно, хотел ли дежурный поссорить командира с женой или подставить меня патрульным? А может, проверял, не побоюсь ли я пройти через кладбище посреди ночи?

«Раз я «огнел», – думал я, – почему же мне не совершить подвиг! Разве подвиги совершаются только на войне? Подвиг можно совершить и в мирное время. И тут вдруг мне пришла в голову мысль о Мехти Гусейнзаде. Среди белого дня он расхаживал в немецкой форме по улицам немецкого города, да еще с оружием, и немцы не могли поймать его. Почему же я – гражданин Советского Союза – не могу свободно ходить по улицам города, боясь, что военный патруль поймет меня и посадит на гауптвахту. Харьков – город большой, и повсюду стоят военные патрули. Чтобы попасть в центр города, нужно было сесть в метро, но и там дежурили патрульные. Другого пути попасть в центр города не было, и поэтому мне нужно было перехитрить их. Но как? Об этом надо подумать».

Занятия в училище проходили в основном до обеда. В аудитории всегда присутствовал командир взвода и следил за тем, чтобы никто не отлучался. Только те, кто назначался в суточный наряд или находился в медицинском пункте, на занятиях не присутствовали. Наряд назначался заранее, а в медпункт записывались с утра. Я предупредил, что ушиб ногу и отправлюсь в медпункт, чтобы получить освобождение и готовиться в казарме к следующим занятиям. В медпункт, конечно же, я не пошел, а направился в город, чтобы проверить реакцию патрулей. Я перелез через забор и сразу же оказался на шоссе, сел в трамвай, благо, военнослужащим полагался бесплатный проезд. Доехав до метро, я перед входом глубоко отышался на случай, если придется бежать от патрульных. Когда я вошел в метро, там стояли несколько патрульных. Они прятались за углом, чтобы их никто не заметил. По всей видимости, они также заметили меня и терпеливо ждали, чтобы я подошел поближе. Собравшись с духом, я направился прямо к ним. Начальником патруля был рыжий подполковник среднего роста.

– Товарищ подполковник! Разрешите обратиться! – взволнованно отрапортовал я.

– Обращайтесь! Что случилось?

– Наш командир взвода, лейтенант Попов вчера заступил с вами в наряд. Вы не скажете, где он патрулирует?

– Зачем он тебе?

– К нему приехала жена. На КПП ждет, как-то неудобно. Меня послали, чтобы сообщить ему об этом.

– Да, правильно. Нехорошо жену офицера заставлять ждать на КПП, – сказал подполковник и обратился к патрульным. – А ну-ка вспомните, вчера на разводе присутствовал лейтенант? – он сразу же заметил на моих петлицах эмблему танкиста.

– Не помню! – ответил один из них.

– Да, кажется, на левом фланге стоял один танкист, в конце строя.

– А, вспомнил, – сказал подполковник. – Танкист, лейтенант маленького роста.

– Да, да... – подтвердил я, зная, что танкисты в основном отличаются маленьким ростом.

– Он патрулирует в парке «Советский». Знаете, где это?

– Никак нет! – твердо ответил я.

– На станции метро «Советской» выйдешь и спросишь, там недалеко.  
«Вот это удачно я придумал», – довольно подумал я.

На уроке философии лаборантка Ирина сообщила нам, что преподавателя куда-то вызвали и поэтому нашему старосте поручили контролировать весь ход занятий.

В тот день шел семинар на тему «Вечный вопрос философии». Все, кто готовился к семинару, выступали по очереди, когда же очередь дошла до меня, вернулся преподаватель. До конца занятий осталось еще немало времени, и мне пришлось выступить основательно.

Для семинара я подготовил особую тему: «Почему армяне не могут примириться с тюрками?»

– Я тщательно изучил эту тему, – сказал я в конце. – Но не нашел причины, почему?.. Даже великий азербайджанский драматург Джадар Джаббарлы, написав пьесу «1905 год», в конце помирил бывших соседей – армянина Аллахверди и азербайджанца Имамверди, посадив их вместе за один стол, но так и не смог указать причину этой вражды.

Тут руку поднял Белоусов.

– Давай помирим тебя с Мишой Вартаняном, – сказал он. – И никаких проблем между армянами и тюрками не останется.

Все заулыбались. Миша Вартанян не любил меня и при случае отпускал злобные реплики в мой адрес. Однажды на утренней физзарядке я сильно избил его, и с того момента мы больше друг с другом не разговаривали.

– Миша Вартанян – больной человек, как и многие армяне, – сказал единственный грузин из нашей группы Нодар Думбадзе. – Потому что с детства родная мать твердила ему, что все турки враги, что с ними нужно вести себя осторожно, и если они когда-нибудь поймают его, то сразу же отрежут голову, как в 1915 году. Они психически нездоровые люди, – заключил он, – и поэтому на них не следует обижаться.

Когда Думбадзе закончил, я сразу же обратился к Белоусову.

– Ты среди нас самый старший и сильный, поэтому я не могу отказать тебе. Только ответь мне, пожалуйста, на один вопрос: «Зачем ты поссорил нас с Мишой Вартаняном? И для чего хочешь помирить? Ответь на этот вопрос, и я сразу же помирюсь с ним».

Белоусов покраснел, ничего не сказав в ответ.

Все вдруг рассмеялись.

– «Огъел» включил в ряд вечных вопросов философии новый вопрос: «Почему армяне не могут примириться с тюрками?» – сказал преподаватель, но тут прозвенел звонок.

Урок по ЭВМ в нашем училище проводил подполковник Лысенко, человек среднего роста, не очень приятной наружности. Голова его была полностью лысой, и поэтому его за спиной называли «Лысенко Лысый Лысович». Хотя ему было неприятно это слышать, он старался не обращать на это внимания. Он был кадровым офицером, воевал в Афганистане и занятия проводил неохотно, потому что не разбирался в полной мере в информатике.

Вместо урока мы стали обсуждать вопрос: «Почему человек лысеет?» Мы долго обсуждали, но никак не могли прийти к единому мнению.

– Наш род эту фамилию получил от самого Петра Великого, – разъяснил нам Лысенко. – Все мужчины в нашем роду рано или поздно лысуют, насколько я знаю, мой отец, дядя и дед были лысыми. А фамилия моя не означает, что я украинец, мы – чистокровные русские.

Мы продолжали обсуждать, высказывали разные мнения, и Лысенко, глядя на нас, внимательно слушал.

– Бараны лысыми не бывают! – вдруг сказал я, и преподаватель в знак благодарности кивнул мне головой. В это время зазвенел звонок на перерыв.

На следующий день это мое высказывание облетело весь вуз. Курсанты, преподаватели, лаборанты, – все цитировали мои слова: «Бараны лысыми не бывают!»

Дважды в неделю я ходил в самоволку и ни разу не попадался. Однажды, зайдя в метро на станции «Пивденный вокзал», я сразу заметил начальника патруля – рыжего майора с двумя высокими патрульными. Кажется, он узнал меня. Бежать было некуда, и поэтому я сам подошел к ним и представился. Начальник патруля хитро заулыбался.

– Ну что, партизан, наконец-то ты попался?

Я сделал удивленный вид, притворяясь, что ничего не понимаю.

– Давай сюда военный билет и увольнительную! – потребовал он.

В это время приближался поезд. Я медленно расстегнул пуговицы, вытащил из кармана военный билет и протянул майору.

– Я племянник Героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде, – проговорил быстро я и, выхватив военный билет из его рук, побежал к вагону.

Я запрыгнул в вагон, и поезд тронулся с места.

В вагоне метро я окончательно решил, что метод «Жена командира» больше не работает. Наверное, об этом уже знают все начальники патрулей, и даже если пока не знают, то сегодня будут знать точно.

\*\*\*

Спустя три десятка лет один из моих друзей сообщил мне, что кто-то в Киеве ищет меня. Мой друг вошел на сайт «Одноклассники». Оказалось, что меня искал Виталий Давиденко, мой однокашник, с которым мы вместе учились в училище.

«Недавно я был в городе Харькове, – писал Виталий. – Зашел на Центральный рынок, нашел там азербайджанцев, чтобы узнать, знают ли они своего земляка по прозвищу «Огъел».

– Из какого он района? – спросили они.

– Из Зангиланского.

– Увы... – ответили они. – Зангиланского района больше не существует.

– Но почему? – удивленно спросил я.

– Армяне оккупировали...

Я боялся услышать о том, что ты погиб. Но я знал, что ты храбрый человек и не мог бы сдаться без боя врагу свою землю. По возвращении в Киев я направился прямо в Генеральный штаб украинской армии, чтобы узнать о действиях азербайджанской армии и найти тебя, своего друга и однокурсника по прозвищу «Огъел». Я нашел фотографию, где ты вместе с турецкими военными участвуешь в совместных учениях на полигоне...

Глубоко вздохнув, я успокоился. «Он настоящий «Огъел!» – подумал я. – Он не может умереть... Он не мог умереть...»